

Е Л Е Н А

ПОКЛОНЕНИЕ
ЛУНЕ

К Р Ю К О В А

Елена Крюкова

Поклонение Луне (сборник)

«Автор»

2013

Крюкова Е. Н.

Поклонение Луне (сборник) / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2013

ISBN 978-1-300-78234-6

Париж и Байкал. Питер и Нью-Йорк. Белое море и степи Монголии. Побывать на концерте юной органистки и пережить ужас смерти вместе с дочерью арата. Перебраться, одного за другим, возлюбленных из «донжуанского списка» старухи, замерзающей в заброшенном зимовье. Танцевать танго на Мосту Искусств в Париже рядом со знаменитой писательницей, бывшей элитной шлюхой. Ужинать вместе с крестьянином-Христом и мужицкими апостолами в деревне Эммаус. Красть еду и косметику с беременной девчонкой-эмигранткой в американском супермаркете. Лежать, раздетой и ограбленной, на снегу под взглядами Сталина и Бери, вышедших из черного авто, под кровавыми кремлевскими звездами. География образов и сюжетов Елены Крюковой в «Поклонении Луне» завораживает. Не в живописном разнообразии пространств главная магия книги. Автору удастся не только ярко высказать себя, но и высветить изнутри мир героя. Это умеют немногие художники. Почти голографическая объемность и точная словесная живопись – ступени к основному смыслу книги, к ее тайной музыке: любите друг друга, возненавидеть всегда успеете.

ISBN 978-1-300-78234-6

© Крюкова Е. Н., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Запах жизни	6
Латинский квартал	6
Танго в Париже	22
Сокровище	49
Краденая помада	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Елена Крюкова
Поклонение Луне (сборник)

© 2013 Елена Крюкова

* * *

Запах жизни

Латинский квартал

Посуда летела из стеклянных дверей кафе.

Посуда летела и со звоном, почти колокольным, разбивалась о мостовую, бац! бац! – ого, дорогой фарфор-то бьют! А может, это дешевый фаянс? Все равно жалко! Летели тарелки и чашки, вот полетела и тяжело, брызнув льдинками острых осколков, вдребезги разлетелась супница; летели салатницы, соусницы, молочники. А вот полетел и хрусталь! И богемское стекло! Рюмки! Бокалы! Господи, какие красивые бокалы, как жалко-то! Бац! Дрызнь! Бац!

Мара беспомощно оглянулась на Илью.

– Надо вызвать полицию... скажи ему...

Она повернулась к высокому человеку в строгом черном смокинге, стоявшему рядом и весело наблюдавшим, как безжалостно бьют хорошую посуду.

– Пьер!.. – задушенно, будто в платок, вскрикнула она. – Полис!.. Полис, как это у вас там... тэлефон, полис, силь ву плэ...

Тот, кого называли Пьером, небрежно поправил лацкан смокинга. Судя по всему, он веселился от души. Боже, он даже хохотал! Беззвучно и белозубо, и ледяной, метельной подковкой блестя в ночи его ровные, может, и искусственные, фарфоровые, подумала Мара, зубы. Нет, не вставные, полно, он же такой бравый молодчик.

«И бравым молодчикам в драке зубы выбивают. Всякое бывает».

А хозяин кафе, стоя на пороге, все швырял и швырял на мостовую тарелки и рюмки, размахиваясь от души, разбивая тонкое цветное стекло и снеговой чистоты фарфор с хаком, с удалью, нагло, сладострастно. И при этом вопил как резаный:

– Медам! Месье! Медам! Месье!

Сзади него, за его спиной, стояла с подносом целенькой посуды разбитная девочка с черной, по брови, густой как щетка челкой, а другая, с другим подносом, еле успевала подтаскивать еще и еще.

– Медам!.. Месье!..

Мара охрабрела и дернула за рукав веселого Пьера. Дерг вышел смешной и робкий.

– Шер Пьер, – покривила она лоб и губы сразу, – ну силь ву плэ... Полис... Катастроф!..

Толпишка изумленных русских художников за их спинами перекидывалась короткими возгласами:

– Да, круто!

– И никакой полиции. Свобода!

– Да уж! Свобода...

– А он все перебьет?

– Силен бродяга!

– Посудке капут!

– А может, старая она! Избавляется!

– Мостовую засоряет!

– Ну, заплатит...

– Кому? Самому себе?

– Щас ажаны прикатят все равно!

– Братцы, нет, это сюжет, жаль, этюдника нет!

– Да, это б написать...

– Этюд!..

– Этюд твою мать...

В ультрамариновой густой осенней ночи безжалостно горели фонари. Они горят, думала Мара, ярче факелов. В фонарном свете синим, химическим блеском пугали белки глаз и зубы в улыбках. Пьер сам взял Мару сначала за рукав, потом его змеино-ловкие пальцы переползли выше, на ее слишком тонкое запястье.

– Не трудитесь говорить по-французски, – сказал он на очень хорошем, с совсем маленьким, скромным акцентом, русском языке, и Мара стыдливо вздрогнула. – Вы забыли, что я хорошо говорю по-русски.

– Да... Я забыла, извините. Тут везде... – Мара развела руками, – Франция... Вот я и...

Илья Каблуков, бородатый и усатый, остро выглянул из зарослей колючей, могучей бороды. Он глядел, как пальцы Пьера слегка погладили Марино запястье; как рука Пьера нехотя оторвалась от женской руки и полезла в карман смокинга, за сигаретами.

Мостовая тускло поблескивала под ногами, как внутренность противной устричной раковины, что в изобилии продавали здесь с лотков. Мара уже пробовала устрицы, и ее чуть не вырвало. «Я угощу тебя лягушками», – радостно пообещал Илья. Она закрыла ему мохнатый рот рукой. Потом закрыла рот рукой себе и быстро, стыдясь, семеня ногами, побежала в сверкающий, как дворец, туалет гостиничного ресторана.

Пьер уже смеялся громко, открыто, во всю пасть. Мара снова покосилась на его идеальные, нечеловеческие зубы.

– А что это он такое тут делает, месье Пьер? – подал голос художник Хомейко из Дивногорска. – Может, все-таки полицию?

– Не тревожьтесь! – «Знает такое сложное слово «не тревожьтесь», пораженно подумала Мара. – Это – реклама! Так он привлекает к себе внимание! Зазывает посетителей!

«Да он по-русски говорит лучше, чем я», – уже совсем потрясенно, глазами-блюдцами глядела Мара. Глаза у нее и правда были большие и круглые, как чайные блюда, и цвет их трудно было понять – то ли угольно-карий, а то ли густо-синий. Художники говорили: ты похожа на испанку. Ну, во Франции тоже за свою сойдешь, девушка! Южный тип.

– Посетителей? – «Еще одно сложное слово». – Вы хотите сказать... что он...

– Это бизнес, дорогая! – Рука Пьера снова, отдельно от него, шатнулась к ее руке, коснулась и оторвалась, как обожженная. – Для бизнеса ничего не жалко! Смотрите!

Она смотрела. Привлеченные шумом, в ночное кафе тянулась публика. Люди хохотали, осторожно переступали через груды осколков, мужчины подхватывали дам под локотки, а кое-кто и хватал на руки, перенося через битое стекло и фарфор. Стеклопанные двери кафе угодливо раскрылись. Внутри все огни были зажжены. Мара глядела во все глаза. Радужный хозяин кланялся, как китайский бонза, девочка с челкой-щеткой сновала взад-вперед, как челнок, метала на столы новую, нетронутую посуду.

– Вот видите, – Пьер радостно вздернул раздвоенное копыто подбородка, – все в порядке!

– Все в порядке, Ворошилов едет на лошадке, – сердито махнула пухленькой ручкой Алла Филипповна Ястребова, акварелистка из Красноярска, – да что ж это, сколько посуды перебили, нехристи!

В Алле Филипповне просто кричала уязвленная погибелью чужого добра хозяйка. Пьер утонченно улыбнулся. Огонек вкусной дорогой сигареты ходил, метался в ночной потемени, красный жучок, от его рта вниз, к мостовой, куда летел невидимый пепел, и опять вверх, ко рту, тихо освещая его бритые щеки и длинный, как у многих французов, чуть хищный нос.

– Франция – христианская страна, – веселье в голосе Пьера не утихло. – Французы – христиане. Мы – католики. Вы просто забыли.

– А гугеноты это кто тогда?! – возмущенно любопытствуя, выкрикнул Толя Рыбкин из Петербурга. Толя писал в основном заказные портреты богатых господ, а раньше, в другой жизни, что давно умерла, старательно малевал картины на производственную тему. Толя окон-

чил с отличием питерскую Академию художеств, и портреты у него получались блестяще. Что заводских бригадиров, что нынешних дамочек в золоте и соболиных мехах. «Да ты, брат, какой-то прямо Семирадский, – то ли в осуждение, то в похвалу сказал однажды Толе Ильи. – Мех как натуральный. А жемчуга, те и вообще круче, чем у Рембрандта». Толя не знал, дать Илье с ходу в рог или хорошо выпить с ним.

– Гугеноты? – Пьер сощурился хитро, и лицо его стало похоже на остроносый башмак большого размера. – А, гугеноты! Вар-фо-ломей-ская ночь?

«Ага, ошибся. Хоть раз ошибся, правильный такой».

– Варфоломеевская, – прошептала Мара громко, так, чтобы было слышно. А вроде и не подсказка, вроде себе под нос.

Но он услышал.

– Мерси боку, – слегка поклонился. – Вар-фо-ло-меевская. Благодарю. Зайдем в кафе? – Он сделал рукой щедрый, приглашающий безоговорочно жест. – Посуда новая! Ничего не бойтесь. Он не повторит этот... трюк.

«Трюк» он произнес, бешено, рокочуще грассируя.

– А что! Пойдем выпьем к хулигану! – беспечно воскликнул, потирая раннюю лысину, грузный и комковатый, как мешок с картошкой, москвич Костя Персидский. Костя славился среди друзей и галеристов тем, что умел, как никто, рисовать обнаженных женщин. Женщины все, как на подбор, были с маленькими, как вишни, грудями и с широченными, как гитары, бедрами, такими чудовищно огромными, что куда там было первобытным толстобрюхим и вислозадым Венерам. Женщины назывались «Персидские Женщины». И более никак. Косте лень было придумывать названия картин. И другие сюжеты тоже. Эти толстобедрые бабы, гурии и наяды, парили над его праздничной столичной судьбой и сыпали денежку в его широкий неряшливый, измазюканный маслом карман.

В жизни Костя был грустен и одинок; жены и даже просто женщины у него не было.

– Да! Пойдем выпьем! – загалдели художники, всегда желающие выпить, особенно на дармовщинку.

– Я угощаю, – уточнил Пьер ситуацию.

– А он снова не будет? – робко спросила Мара.

Рука опять украдкой потянулась к руке. И быстро, спелой ягодой, опала под зорким и злым взглядом бородача.

– Нет. – Пьер помолчал и добавил: – Не бойтесь.

– Я не боюсь, – сказала Мара. – Где мы вообще? Это куда вы нас привезли?

Черно-лаковая, немыслимо шикарная, громадная, как корабль, машина осталась на стоянке, поодаль, за пройденной ими гладкой, поскользнуться можно, мостовой. Может, тут и камни лаком поливают, так все блестит? Или – подсолнечным маслом? Все блестит, все сверкает, все чистое, – а вчера вот шли-шли, прямо по знаменитой улице Риволи, по ней когда-то французский восставший народ, топя по камням тяжелыми сабо, бежал брат Бастилию, и вдруг – оп! – под ногами – куча дерьма! И свежего. Что не собачьего, это точно. И Пьер не растерялся, развел руками и расхохотался снегозубо: «И это тоже – Франция!»

– Это Латинский квартал! – крикнул Пьер.

Они познакомились с Пьером около русского храма Александра Невского на рю Дарю. Долго искали они эту улицу и этот храм, тыкали пальцем в карту Парижа, шурились, спорили, куда повернуть, направо или налево, и где тут парк Монсо, а где ближайшее к храму метро, и Хомейко кричал: ну что вам сдался этот храм, обойдемся без него! – а Алла Филипповна кричала: это преступление! Это преступление, быть в Париже, в кои-то веки, один раз за всю жизнь, и не побывать в храме Александра Невского!

Храм они отыскивали. Купола увидели еще издалека. Радостно рванули, перебежали улицу перед носом медленного, как тюлень, автобуса. Автобусы тут ходили редко; у каждого была своя машина. На ступенях храма стоял маленький, как лилипут, человечек с лицом, до глаз заросшим бородой. Смотри, Илюшка, твой брательник, хохотнул Костя Персидский. А может, он художник?! Ты что, не видишь, священник он, только в мирском наряде.

Алла Филипповна сообразила быстро, подбежала, квадратная, на кеглях-ножках к бордатуму дядьке и заговорила с ним по-русски. А потом и черпачком руки сложила, и благословила. Вернулась, торжествуя. «Его зовут отец Николай Тюльпинов! Он приглашает! Сейчас начнется служба!» Службу отстояли с трудом. Ноги отекали, ломило в костях. Четыре часа на ногах, это безумие, ворчал атеист Хомейко. Долгая литургия Иоанна Златоуста текла, как золотая река, и Мара, крестясь, шныряла глазами по сторонам. Не только иконы, но картины на Евангельские сюжеты, холст-масло, населяли мрачную, с высокими сводами, старую церковь. Мара не знала, что вот это – Боголюбов, а вот это – Поленов; она плохо разбиралась в живописи. Зато Илья знал. У него в зобу дыханье сперло от счастья. Он щупал живопись жадными зрачками, залезал в нее взглядом, копошился глазами в ней, как пчела в цветке. Нет, иконы тут тоже будь здоров. А Алла вон знай молится да крестится, и эта стоячка, как на допросе, на пытке, бабушке нипочем! Крепкая сибирская старуха.

Мара тайно обглядывала другую старуху – ту, что сидела справа от нее, инвалидка, паралитик, в массивном стальном кресле на колесах. Седые букли были взбиты для похода в храм. На сморщенной слоновьей шее на золотой паутине цепочки покорно, покойно лежала мертвая птичья лапка нательного креста. Черные руки земляной костлявой горкой торчали на коленях, на странных, старых, чисто выстиранных, почти деревенских кружевах. Сколько ей лет, подумала Мара, сто пятьдесят, что ли?.. столько не живут... Старуха подняла лицо, повернула его, как лампу, к Маре, и осветила ее, просветила до дна внезапно бешеными и молодыми глазами. Серый, голубой хрусталь, хрусталь и золото, и свечи, и старые, завтра уже мертвые кости. На черной головешке пальца у старухи неистово, ножево сверкнул в скрещенном свете свечей красный кабашон. «Может, еще подарок Царя, может, она любовница какого-нибудь... Великого Князя», – слепо пронеслись богохульные мысли. Хор пел. Священник литургисал. Причастники тянулись, шли медленно, сложив на груди покорные руки, к Святым Дарам. Много молодежи, и детишки со свечками. Знают ли эти правнуки русских русский язык? А если не знают – зачем сюда идут?

Художники к Причастию не подошли – никто не исповедовался, а без исповеди причащаться нельзя было. Батюшка произнес отпуст. Народ расходился медленно, будто нехотя. В храме пахло нагаром и медом. На крыльце слышался бойкий, и правильный и ломаный, русский говор. Алла Филипповна, как всегда, везде поспела. Она уже скатилась коломком по ступеням к старинному, в стиле ампир, домику рядом с храмом, уже читала вывешенные под стеклом объявления, уже махала пухлой, в пороссячьих жирных складках, ручонкой и кричала:

– Да тут русские объявления вешают! Эх, ребята, ну и ухочешься! Давайте сюда!

Илья, сжимая Марину руку в руке, вразвалку подошел.

– Продам хорошего синего попугайчика... за двадцать евро... умеет говорить по-русски! – Илья читал громко, чтобы всем было слышно. – Даю уроки русских танцев, хоровод, кадрили, мужская пляска вприсядку! Открыто русское кафе «ВОДКА РЮСС», меню: блины, икра, пироги, уха из осетрины, гречневая каша, щи, борщ, пельмени! Требуются повара и официанты! Профессиональный русский актер за недорогую плату выступит на русской вечеринке, желательно в богатых домах! Концерты! Пение под гитару, незабываемый барон фон Бенигсен, Майский Соловей, и с ним его супруга, баронесса фон Бенигсен, Певчая Славка!

– Плохо им тут, – вздохнула Мара.

И голос резко вспыхнул за их плечами:

– Русские?.. Из Москвы? Разрешите познакомиться!

Все тут же обступили человека, судя по всему, француза русскоговорящего.

– Вы кто? – грубовато и напористо спросила Алла Филипповна, и ее короткие ручки сделали в воздухе круглое, самоварное движение.

– Я? Пьер Хаффнер, – сказал человек, делая энергичное ударение на последнем слоге фамилии.

– Илья, – сказал Илья. Он ближе всех стоял к Пьеру.

– Мара, – прошелестела Мара.

– Алла Филипповна! – зверски, но не противно кокетничая, кинула навстречу сдобную лапку Алла.

– Константин... Персидский, – меланхолично сказал Персидский.

– Анатолий, – Толя Рыбкин для чего-то пригладил длинные путаные, пеньковые пряди.

– Хомейко! – истерично выкрикнул Хомейко. – А вы француз?!

– Как видите. – Пьер полез в карман за сигаретой. Вынул; закурил. У него был спокойный голос. И дорогая зажигалка Zippo. С настоящими алмазами и из настоящего золота.

– У вас что, предки русские были? – очень осторожно, деликатно спросила Мара.

И Пьер посмотрел на нее.

Он смотрел вроде бы на всех, вроде всех обнимал веселым взглядом, но получалось, что смотрел он только на нее, а это было как-то нехорошо, неприлично, и Мара не хотела покраснеть, но покраснела, и смущенно, одним плечом, спряталась за широкую, булыжную спину Ильи.

– Нет, – Пьер продолжал смотреть на нее, только на нее, и старался заглянуть ей в глаза, а это уже было совсем из рук вон. – Я чистокровный француз. Но я так люблю Россию, что выучил ваш язык. А если точнее... если правда...

Он затаился, и Мара старалась глядеть не ему в глаза, а на дым его сигареты.

– У меня в России бизнес. Я бизнесмен. Я хочу говорить с моими партнерами так, чтобы они меня понимали.

– А какой у вас бизнес, месье Пьер? – встряла Алла Филипповна, любопытная сорока.

– Колбасный, – улыбнулся Пьер.

– По вас не скажешь! Вы такой... ну... как артист! Мы думали, что вы артист!

«Кто это «мы», – растерянно думала Мара.

Илья крепко, очень сильно сжал ее руку, и она испуганно посмотрела вдаль, поверх аккуратно стриженной головы Пьера Хаффнера, на золотые надкрылья куполов русского храма, на пряничные, изъеденные смогом стены.

– А вы давно в Париже? – Сигарета чуть, едва видно, дрожала.

– Третий день! – Алла поправила пружинную прическу. – Мотаемся вот! Сами! Мы вообще-то художники! Из разных городов. Толя вот из Питера... я – из Красноярска! А Хомейко вообще из Дивногорска, это тоже в Сибири! У нас тут группа! У нас, ну, творческая поездка! Мы по вызову от фирмы «Сирел», они будут делать нам выставку знаете где?... в самом Гран-Пале, вот где!.. Это вообще сказка!.. А мы вот тут... мотаемся! Кое-где уже побывали, в хороших местах! Сразу, между прочим, в Лувр пошли! И... и... заблудились...

Пьер хохотал, забросив голову назад, как черный мяч. Бросил хохотать. Обернулся к Маре и Илье – резко, звериным махом кинул тело.

– Хотите, я буду вашим гидом по Парижу?

Было впечатление, что он спрашивает только их. Их двоих.

Наконец он поймал глазами Марины большие глаза. И они забились, как две спугнутых сачком бабочки.

– Хотим, хотим! – обрадовано заорала Алла. И осеклась:

– Вам, месье Пьер, ведь платить надо?.. а у нас-то... денег нет... Мы нищие художники, ха-ха-ха! – Смех вышел жалкий и натянутый. – Ну честно, нет! Мы все, чтобы сюда полететь, сами у друзей заняли-перезаняли... так что... вот...

– Мне не нужны деньги. – Бабочки били, били тревожными темными крыльями. Сачок замер в воздухе. – Я бесплатно. У меня машина большая. Я буду вас возить по Парижу. Я покажу вам Париж, который вам и не снился.

– А мне снился Париж! – Аллу несло безудержно. – Он мне приснился – и вот я здесь! Вещий сон!

– Мне тоже приснился вещий сон, – сигарета наконец аккуратно полетела в стальной короб урны. – И я сегодня приехал сюда.

Илья наклонился к Маре и пощекотал колючей бородой ее нежную детскую шею.

– Тогда доведите, пожалуйста, нас до отеля. У нас время ужина. Официанты ругаются, если мы опаздываем.

– У вас отель завтрак-ужин? – быстро спросил Пьер.

– Да, – мрачно ответил Илья.

Они кучею ввалились в кафе, уселись за столики. В зале уже битком было набито народу, громко разбитая посуда сделала свое дело: у соседей-конкурентов столы пустовали, а у находчивого хозяина заведенья уже, кажется, и мест-то не было. Их все равно рассадили. Кого куда. Алла сидела с патлатым Толей, Илью объединили с Персидским и затолкали в самый угол зала, и так вышло, что Мара и Хомейко сидели поодиночке. Илья привстал, смотрел внимательно и угрюмо. Он следил за Пьером, что он будет делать. Пьер о чем-то пошептался с хозяином, и хозяин из загашника вынес ему колченогий деревянный, с дыркой сердечком в сиденье, старинный какой-то, мушкетерский стул с плетеной из соломы спинкой. Илья дернулся, Персидский положил ему ладонь на кулак.

– Тихо, Илюшка, – небрежно сказал Персидский. – Ты что, ревнуешь? Но ведь ты же не дурак, скандалить тут?

– Я не дурак, – процедил Илья, не сводя глаз с Пьера. Он уже подсел к столику, где сидела Мара.

– У тебя с этой девочкой что, все так серьезно, что ты даже в Париж с собой вывез ее? – лениво жевал слова Персидский. – Бабки на нее потратил? Все что, так круто, да? А ты хорошо подумал? Она же девочка совсем. И дурочка. А ты и расстелился. Да я тебе таких девочек!.. пол-Москвы!..

– Рисуй своих Персидских Женщин, Костик, – тихо и отчетливо сказал Илья. – А к моей женщине не лезь.

– Я и не лезу. – Персидский тоскливо посмотрел поверх людских голов. – Интересно, чем нас будет угощать этот французик? Бизнесмен, еп его мать. Может, что приличное закажет. Ну, ты, брат, извини, конечно, но я на нее гляжу, на твою-то, разве такая может быть женой художника? Жена художника – это, брат... это...

Персидский развел руками, не подыскав слов. Густой табачный дым синими и сизыми призрачными пластами заволакивал стеклянный гудящий, как ветер в трубе, зал, и становилось тяжело дышать. Девчонка с густой щеткой-челкой несла в обеих руках сразу пять громадных кружек с пивом.

– Темное. Портер, – облизнулся Персидский. – Че сидишь-то, парень? Это ж нам несут!

Девчонка ловко бухнула кружки об стол и захохотала дробно, улыбочиво, мелко-мелко рассыпая, как пшено по столу, зернистые слова.

– Слишком много у них буквы «эр», – томно выдохнул Персидский, с потягом пригубил пиво и толстыми губами важно вылепил официанточке:

– Гран мерси, шери!

Илья шурился, прокалывал зрачками кружево дыма.

– Где вы живете... Мара?

Чужие интонации. Чужая страна. Чужое темное, сладкое пиво в длинном бокале. Мужикам-то заказал из кружек, а нам с Аллой из бокалов, мы дамы, мы дамы. Мадамы, мадамы. Я не мадам. Я мадемуазель, так, кажется, тут у них. Нет. Я без пяти минут мадам. Мадам Каблукова. Я выхожу замуж за прекрасного художника Каблукова, и пусть он бедный, пусть он нищий, у нас в России художники нищие все, кроме правительственных. Так было всегда, и так будет. О чем он спросил меня?

– Я? Мы? – Она смешалась. – Мы... живем в Самаре.

– О, Самара!

– Это на Волге. Там... Жигули.

– Я знаю!

Дым плавал меж их лицами, от его губ к ее губам.

В этом невыносимом дыму он все равно выволок свою сигарету и закурил. И отогнал дым рукой, и смущенно отвел руку с сигаретой вбок от себя, и задел рукой ляжку бегущей мимо официантки, и она, вместо того чтобы обидеться и наругать ему, хорошо и зубасто рассмеялась, а Пьер послал ей воздушный поцелуй.

«Да, тут все другое. Отношения людей другие. У нас бы тетка наорала, а дядька бы шепотом выматерил ее».

– А вы... родились в Париже?

– Да. Я родился в Париже. Семья моего отца пять веков жила в Париже. А моя мать родом из Кондрие.

– Что, откуда?..

– Из Кондрие. Это такое... такая... деревенька, так, да?.. на берегу Роны. На Юге. Она знаменита у нас тем, что там делают очень вкусное вино. Знаменитое на всю Францию. Мускаты, мускатели... «Сен-Жозеф», «Кондрие»... Ронские виноградники... такие, знаете, кудрявые берега... И Рона течет быстро, очень быстро. Она течет с гор! Поэтому такая быстрая. Рос-кош-ные места! Манифик! – Он волненья воспоминаний он перешел на французский. Спыхватился. – И вино... рос-кош-ное. Я повезу вас на праздник вина. Это день святого Венсана... по-русски – Винсента, да... в феврале, три дня в середине февраля на Роне празднуют! Вы поедете туда со мной! Там крестьяне жарят в эти дни свинью прямо на дороге. Мы будем есть с вами жареная свинья! – Он поправился: – Свинью!

«Как это я поеду с ним, – бились на табачном ветру лохмотья-мысли, – я же тут с Ильей... никуда не поеду...»

– Я никуда не поеду, – растянула Мара губы в напряженной улыбке.

И тут она увидела превращенье. Вежливого господина в смокинге больше не было. Перед ней сидел, тяжело дыша, мужчина, самец, с потным крепким переносьем, с жаркими жуткими глазами, и черные радужки черными печатями прожгли плавающие, желтые от курева белки. Жареное мясо. Жареная свинья. Жареная она. Жар. Жрать.

– Ты поедешь со мной.

Мара сделала движение встать. Он уже взял себя в руки. Ласково, утишая взрыв ее испуга, еле слышно погладил ее по руке. Она заставила себя сесть за столик.

– Извините!

– Да-да... пожалуйста...

– Пейте пиво. Это очень сладкое пиво. Дамское. – Он принудил себя улыбнуться. – Женское. Я не люблю такое.

Мара сделала большой глоток, солодовый холод ударил ей под сердце, и она уже свободней, развязней спросила:

– А что вы любите?

– Водку, – его прищур играл и переливался.

– И... женщин?..

– Все французы ловеласы, вы же знаете, – он двинул кружкой о ее бокал. – *A votre santé!* –

Щелкнул пальцами, подозвал девчонку с челкой. Набормотал ей что-то. Девчонка исчезла и через миг выпорхнула снова перед их столиком, как голубка из кармана фокусника. В руках у девчонки была бутылка вроде бы шампанского, такая же большая, горластая и зеленая, как в России, и серебряной фольгой горлышко так же обвернуто, но на этикетке, она разобрала, стояло: «CONDRIEU».

Девчонка шмякнула об стол два бокала и разлила вино, будто опять показывая фокус. Пьер поднял бокал на уровень глаз.

– Это вино моей мамы, – тихо сказал. – Это вино ее родины. У каждого человека ведь есть родина, верно?

Мара взяла бокал. Ее слегка трясло.

– Да.

– Выпьем?

– Да.

Затылком она чужла тяжелый взгляд Ильи, вонзавшийся в гушину серого дыма.

– Я пью за вас.

Он хлебал из бокала вино и глядел на нее.

– А вотр сантэ, – сказала Мара, отпила и задохнулась. И закашлялась.

– Это все дым, – выкашляла она смущенно.

– У вас такие глаза. Я хочу все время смотреть в них, – сказал Пьер. – Всегда.

Они договорились так: Пьер приезжает за ними за всеми сразу после ужина, часов в восемь вечера, и они едут смотреть неизвестный ночной Париж. «Туристы в это время сладко спят в постельках, а мы с вами будем смотреть мой Париж. Я люблю Париж ночью. В нем ночью есть особый, как это по-русски?.. шарм, как это...» – «Так и будет шарм», – тихо подсказала Мара.

И он одарил ее улыбкой, от которой она отшатнулась, как от яркого солнца после темной кладовки.

А днем вы нас никуда не будете катать, напрямик спросила бойкая Алла Филипповна. Почему же, и днем буду, только тогда, когда свободен от работы, вежливо ответил Пьер. «Я кому-нибудь из вас позвоню. У вас у каждого в номере телефон?» Он опять смотрел на Мару. Она оглянулась на Илью. Илья молчал. Мара вырвала листок из записной книжки и быстро нацарапала вереницу цифр. У нее была хорошая память на цифры. Ее покойная мама всегда вздыхала: тебе бы математиком стать, дочка!

А она окончила школу и, бездарность, устроилась работать библиотекарем.

Как-то жить было надо. «Живет кошка, живет и собака», – говорила Марина покойная бабка. Мара повторяла иной раз эти слова, для утешенья.

С Ильей они познакомились в библиотеке. Он брал альбомы по искусству и книги о великих художниках. Он пригласил ее к себе в мастерскую. Ей очень понравились картины и запах масляной краски. Илья сначала не думал о Маре серьезно: ну что за девочка, ребенок совсем. Ему даже было жалко и страшно спать с ней. Она и оказалась девственницей, ну, когда-то и с кем-то надо же было, вот с ним и довелось. Илья недавно развелся с женой, сварливой и гаденькой бабенкой, на десять лет старше его, он устал от тусклого, измотавшего душу брака, и у него в планах не было никакой женитьбы. Он то и дело ездил на выставки в Москву, завел московские дружбы, хотел уже переезжать, вступать в МОСХ, ему обещали мастерскую на Воробьевых горах, всего за десять тысяч долларов. Всего! Семечки, конечно, по столичным меркам.

Он решил заработать. Он отчаянно разбросал картины по московским и питерским галереям. Он завалил Самару холстами. Он живо клюнул на эту авантюрную поездку в Париж, Рыбкин сосватал, да Персидский подбил, а тут еще Аллочка из Красноярска, в одном Доме творчества красили когда-то, затарахтела: «Париж, Париж! Когда еще такой шанс! Запали на наши картинки, так надо хватать, парни, протянутую руку! А не зевать! Выставка в Гран-Пале!.. Бляха, в Гран-Пале знаете кто выставляется?!.. Фрэнсис Бэкон там выставляется, вот кто!.. И – Энди Уорхол!.. И – Шемякин!.. И всякие такие!.. А нам предлагают бесплатно!» Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, оборвал хорошую песню Илья, французы, как пить дать, захотят от нас расплаты. «Ну и что, по картинке хорошей отдадим, и все дела!» – пела Алла. «Хорошо, давайте искать деньги на поездку. – Илья собрал все морщины на лбу. – Только я поеду не один. Со своей невестой».

Как это у него вырвалось, он и сам не понял.

И Алла скептически повела толстым плечом: ну не дурак ли, Илюшка, тебе надо, по делу, на москвичке жениться, а ты еще в Париж потащишься со своим самоваром.

Самовар стоял и торопливо царапал на листочке телефон. Самовар смущенно улыбался и глядел такими большущими глазами, что ему становилось страшно – сейчас сорвутся и полетят. Самовар залиvisto, тоненько и смешно смеялся, казалось, птичка поет.

У Ильи и Мары был одноместный номер. Взяли из-за экономии. Спали на одной кровати, и одеяло было не нужно. Да и спать-то было некогда. Полночи Пьер возил их по Парижу, битком набитому горящими в ночи, как факелы, золотыми и красными каштанами, а под утро они, задыхаясь, любили друг друга.

Ночная жизнь под мостом. Ночная жизнь под мостами через Сену. В Париже через Сену очень много мостов, это не Венеция, конечно, но вроде того. Не сосчитать. Они бросали машину на набережной и медленно сходили по ступеням к золотой, опасной тьме осенней воды. Смотрите, тут люди! Да, люди. Они живут тут. Это клошары. Кло... что?.. Клошары. Бездомные. Как это по-русски... да, бродяги. Им негде жить. Не бойтесь их, они не обидят. Они очень миролюбивы. И не лишены чувства юмора. А как же они... зимой?.. Греются, как могут. Спят где придется. На решетках канализации, например, там тепло, теплый пар идет из-под земли. Усыпляет лучше колыбельной.

Нежный, томный и теплый мрак, и пахнет ракушками, пахнет почему-то йодом, хотя мы не на море; пахнет гнилью, о да, вода гниет, и людские тряпки гниют, и Мару слегка тошнит, но она крепится. Резкие желтые полосы по черепашье-сморщенной воде. Фонари глядятся в Сену. Белолицые фонари. Белые грибы на тонких чугунных ножках. Черный шелк реки хочет обвиться вокруг руки. Мара садится на корточки и окунает руку в воду. Черная перчатка воды. Я надела черную перчатку Сены. Сена, ведь она тоже женщина! Что вы, Сена – девочка. Видите, какая она тоненькая, узенькая, по сравнению с вашими русскими реками. У вас – великаны и великанши: Волга, Обь, Е-ни-сей... У нас и маленькие речки есть!

Нет, Сена древняя старуха, такая же, как старуха Европа, и у нее на сморщенных пальцах – дорогие огромные, как свиные глаза, перстни: агаты, сапфиры, яркий розовый жемчуг. Как у той, высохшей русской столетней княгини в храме на рю Дарю. О нет, она просто французская кокетка, просто шлюха с Пляс Пигаль. Или с Монмартра. Сена, извилистое черное змеиное тело, Сена, да она пахнет сеном, русским сеном в ночных полях! А вон кораблик. Это не кораблик, а катер! Весь в огнях, как в блестящих жуках! Нет, это плавучая елка в огнях золотых шишек и серебряных шаров, она плывет по Сене на крестовине, а вы любите Новый год? Очень. У нас сейчас в России празднуют Рождество! А у нас его вот уже две тысячи лет празднуют.

Черные, золотые кадры ночного фильма. Мельканье полос и огней, и мягкий бархат плюща, монашьям плащом обтянувший каменные парапеты напротив Нотр-Дам-де-Пари.

Нотр-Дам, ведь это так похоже на... на Нострадам! А это одно и то же. Нашего пророка звали Мишель Нотрдам, или Нострадам, или, по-латыни, Нострадамус. По-латыни. Да, правильно, по-латыни, спасибо.

Однажды вечером Пьер повез их на Монмартр, в собор Сакре-Кер. «Сегодня службы нет, но сегодня вечером, и всю ночь, в соборе будет играть на органе великий парижский органист Жан-Люк Люмьер. Я узнал об этом утром, мне позвонили. Он будет играть для себя... импровизировать. Это бывает так редко. Он гений. Не часто доводится услышать гения».

А я орган вообще никогда не слышала в жизни, жалко подумала о себе Мара.

В соборе было темно, как в склепе; горели большие, длинные и толстые, белые свечи. Их можно было взять из железной коробки, совершенно бесплатно, и поставить в подставку, и зажечь. Белые свечи горели и у органного пульта, где стояли, широко, как белые крылья, развернутые ноты. Органист горбил спину над четырьмя мануалами. Мара со страхом увидела, что на клавиатурах те клавиши, что должны быть белыми, черного цвета. Как же он пальцами-то попадет?! Он же ничего не видит! Чернота сплошная! Ему и не надо видеть, *cherie*. Настоящий музыкант играет с закрытыми глазами.

Он помолчал и вдруг очень тихо, наклонившись к ней, спросил: ведь вы же занимаетесь любовью с закрытыми глазами?

Музыка плыла и наплывала, и откатывалась белым соленым, северным прибоем. Музыка плыла и таяла, поднимаясь вверх лучистым, голубым дымом, и дым превращался во вспорхнувших голубок, в щебечущих далеко, в вышине, под куполом, легких птиц. Скорбные реки свивались и расплетались, и текли, не сливаясь, и весенние ручьи, гремя, впадали в них, и внезапно они застывали, покрываясь коркой зеленого, а потом черного посмертного льда, и женщина в черном преклоняла колени на берегу, и подносила к лицу руки в черных перчатках, и молилась, и плакала. И музыка плакала вместе с ней.

Музыка наполняла черным тяжелым вином великанскую пустую бутылку белокаменного собора, и вино это стояло в бутылки, источало древний, горький аромат, и страшно было его отпить, но Мара пила, пила большими глотками. Она захмелела от музыки, от ее мягких, теплых, как медленные поцелуи, волн; чужим мужским языком втекала музыка в ее полуоткрытый рот и кувыркалась, и играла у нее во рту, как крошечный дельфин, приглашая к внезапному, соленому, морскому веселью, и Мара уже соглашалась на радость, она уже улыбалась и прерывисто, в паузах между поцелуями играющей рыбы, дышала, – как вдруг веселье обрывалось на самой высокой ноте, и молчанье обхватывало ее закутанными в траур руками. И в молчаньи откуда-то с небес, из-под ночных облаков, просачивался тонкий, как спица, луч. И этот луч входил Маре под сердце. И она слышала, как поет низкий, грудной, женский голос: не теряй времени на земле, девочка, люби, люби, покуда любишь, пока тебе дано любить. Яма рядом. Черная дверь земли распахнута. Спешите быть живой. Спешите подарить жизнь и радость.

Художники расселись по длинным деревянным скамьям собора, а Мара стояла. Она стояла все время, пока играл органист. Когда музыка, а это случилось все же, медленно истаяла, тонко и протяжно, подбитой птицей крича в вышине, Мара обернула залитое слезами лицо к Пьеру и спросила: что это было?

И Пьер тихо ответил, и глаза его сияли: музыка.

Они вышли из Сакре-Кер, немного отошли от собора, и в ночи собор снова напомнил Маре белую пузатую бутылку, только вино все выпили. «А органисты всегда репетируют ночами?» – спросила она, идя рядом с Пьером. Всегда, конечно, утром и вечером в соборе службы, а ночью никто не мешает. Мара оглянулась на художников: они все, телячьим веселым стадцем, шли позади, на их боках болтались, об их спины стучали этюдники.

– Я вижу, вы сегодня экипированы. Хотите порисовать ночной Монмартр?

Илья услышал. Двумя резкими злыми шагами догнал Мару и Пьера.

– Да. Хотим по-пи-сать, – он ударил голосом Пьера, – этюды. Рисовать – так не говорят! Художники говорят: писать. А еще лучше: красить. Хотим по-кра-сить. Понятно?

– Понятно, – кивнул Пьер. – Как маляры.

Илья скрипнул зубами и отстал.

Шел нежный, ночной дождь, он висел в коричнево-синем воздухе серебристой пылью. Художники сгрузили на мостовую этюдники, разложили их и сели выдавливать на палитры краски, прямо напротив булочной. На двери булочной висел амбарный, средневековый замок. В квадратные чистейшие, что тебе хрустальные окна были видны аппетитные булочки, рога воздушных круассанов, еще иная, незнакомая выпечка; красовались торты и пирожные, похожие на старинные дамские веера.

– Эту булочную писал Ван Гог, – вскользь подметил Пьер.

Толя Рыбкин погладил мокрую облезлую паклю у себя на затылке и вскричал, глядя на туманные тучи над крышами Монмартра:

– Черт! А дождик-то сильнее!

– А я взяла с собой зонтики! Благодарите меня, а ну! – крикнула Алла Филипповна. – И еще в сумке у меня два полотенца! В «Тати» купила, по дешевке! Спасемся!

Рыбкин и Илья сели на маленькие складные стульчики около этюдников. Алла щедро протянула полотенца; художники повязали их на головы в виде тюрбанов. Алла кинула Маре зонт, сама раскрыла другой. Пока Костя и Хомейко быстро махали по картонкам и крохотным этюдным холстикам кистями, останавливая этот миг, и эту ночь, и мокрый Монмартр, и цветные отраженья фонарей в черных лужах и на сырой зеркальной мостовой, Алла и Мара держали над ними зонты. Колышется ярко-желтый и сажевый воздух, и сырость размывает очертанья домов, и редкие люди, вышедшие в дождь по делам или от нечего делать, бредут по старым камням, это Париж живет, это он дышит и любит, он пьет ртами труб мелкий осенний дождь, он плачет в окнах и витринах поминальным и нежным дождем, и все плывет, все расплывается и дрожит, так всегда от слез, и все цвета переходят один в другой, не поймать, не уловить, где кончается красный и где взрывается синий, где тает навсегда лиловый и плачет оранжевый, апельсиновый, лимонный, кислотой прощанья обжигая губы и десны, – а ночь только и ждет, когда эти чужестранные канарейки, щеглы эти залетные поднимутся с места, свернут свои краски и коробки и улетят, уйдут навсегда отсюда, и эта булочная забудет их, и эта мокрая мостовая, – а ночь, парижская дождливая ночь накинёт на булочную Ван Гога, на фонари и белый стеклянный, опаловый пузырь Сакре-Кер погребальный черный плащ.

А однажды днем приехал за ними Пьер, у него с утра работы не было, и он повез их всех в музей д'Орсэ, где хранились сокровища: живопись импрессионистов. Для художников это было все равно, что запустить голодные зубы в свежий, только из печи, дышащий хлеб. Они ходили по залам, открыв рты, и у них сердца превратились в глаза, а мыслей не было. Они сами, созерцая эту живопись, превратились в краски, сами плыли и плавались под жаркими лучами Писарро, под обжигающим солнцем Сислея, под ароматом стогов и полевых безумных цветов Клода Моне. Когда они все, уже пьяные от красок и чудес, ввалились в зал Дега, и со стен на них прыгнули, в них ударили синими, павлиньими, тропическими крыльями, хвостами, перьями Голубые Танцовщицы великого Эдгара, и стали летать над ними синими попугаями, и порхать сапфировыми, сумасшедшими бабочками, и они стали погружать, хохоча, как умалишенные, руки – по локоть, по плечи – в эту морскую, без дна, синеву, и пить ее, и ловить ее, а она, Боже, она улетала, ее невозможно было поймать, пригвоздить в коллекцию, умертвить! Синева была живая! Горел и трещал всеми дровами всех прошедших веков синий костер! Илья подошел ближе, еще ближе. Костик Персидский возил носом по постелям Дега, и голубые юбки мазали его по толстым щекам. «Отсвечивает», – прислонял Костик ладонь к глазам: постели висели в зале под стеклом, все верно, а то выцветут.

– Вот это живопись, этюд твою мать! – крикнул Толя Рыбкин, и его ноги вмерзли в пол перед Танцовщицей, что оглянулась, через века, на него через плечо. Вывернула шею. Поправила бретельку. И синяя ткань, легкий батист или черт знает что там, поднялась и вздулась и опала к тонким и сильным ногам.

– Да, это живопись! Вот она!

И Аллочка тоже застыла, свернув пухлую лапку в трубочку и прислонив к глазу, рассматривая.

Мара тихо спросила:

– Эй, ребята, а где у нас Хомейко? Мы его потеряли?

– Хомейко в гостинице, – хохотнула Алла. – Животом мается. Сожрал что-то. Лягушку, вроде бы!

– Так лягушку или вроде бы? – спросил Илья. Шагнул вперед и сжал плечо Мары.

– Лягушку, он сам сказал! Он таблеток потом нажрался и лег! Сказал: без меня езжайте!

Мара, не оборачиваясь, скосила глаза. Пьер стоял перед Голубыми Танцовщицами. Он смотрел не на Танцовщиц. Он смотрел на нее.

И была еще пивная. Диковинная, разбойничья пивная на Монмартре, опять на Монмартре. Ночная, ночь напролет гудящая пивнушка, Пьер, наверное, любит пиво, если все время их по пивным водит, подумала Мара. Он предупредил: поедем в злачное место. Там осторожней. Вот там действительно осторожней. Это не безвредные клошары под мостами. Там назначают очень, ну, опасные свиданья. А, забивают стрелки. Так это по-русски. Стрелки? Ну пусть стрелки. Я не знаю этого выраженья.

Табачного дыма было так густо намешано в единственном, тесном залишке, что Мара вдохнула – и задохнулась тут же, но стала терпеть, дышать в пол-ноздри, не кашлять, глядеть. Интересно было. Такого нигде не увидишь. Ночной, преступный Париж. Пошлый, гадкий, хищно-красивый Париж. «Не лезьте тут ни к кому, здесь могут обидеться и тут же убить». Пьер улыбался свободно, совсем не натянуто. А слова звучали резко, ножево. Будто ножом сам ударял: раз, раз. Резал по живому.

Густой пирог дыма разрезали острые, как ножи, глаза. Ножи и стволы тут играли у всех за пазухами, в оттянутых карманах. За соседним столиком парень, щеки фиолетовые – то ли от старательной бритвы, то ли набил кто до синяков, а может, он мулат, и кожа отсвечивает в свете ламп, в сизо-голубином дыму лиловым шоколадом, – что-то гадкое, грубое бросил в лицо визави, тот ответил визгливо, как баба, и лиловый парень быстро, неуловимо выхватил из нагрудного кармана ствол и приставил его ко лбу друга или уже врага, меж бровей. Друг или враг улыбался черной дырой, двух передних зубов у него не было. Вскочил вбок и в сторону и опередил выстрел. Сухой и громкий хлопок в крошечном дыму, в разошедшихся вее-ром криках. Пуля воткнулась в деревянную стойку бара. Раздался сначала бабий визг, потом наглый мужской хохот, как петуший клекот. У Мары комок подкатил к горлу, и она не знала, что это сердце. Она вся билась, вместе с сердцем своим, от страха и восторга. Костик восхищенно присвистнул. Илья сложил пальцы в кольцо и свистнул уже серьезно, хулигански, оглушительно, на всю бандитскую пивнушку. Эй, наступил ему под столом на ногу Персидский, а ты не боишься? Тебя примут за своего и тоже замочат!

– Я их всех сам замочу, – смеялся Илья.

– Каблуков, ты где так научился свистеть? – спросила Аллочка. Пухлая бабушка не терялась здесь, она уже тянула пиво как мужик, уже курила, дымила как паровоз, ого-го, Алла Филипповна Ястребова, шестьдесят восемь лет, акварель, Красноярский Союз художников, бронзовая медаль выставки-конкурса «Золотая палитра»! Пожилая дама трэф, карта с потерятой рубашкой, она плыла в Париже как рыба, она курила в Париже как в молодости, да Париж сейчас и был ей молодостью – последним подарком, горячим жареным каштаном.

- В Самаре. Так у нас свистят фургопаны.
- Кто, кто?! – Алла подавилась смехом.
- Хулиганы, – нехотя перевел с фени на русский Илья.
- А фургопаны эти твои что делают? Грабят?
- Грабят, и хаты и фраеров, и убивают.
- Блин, так ты здесь свой!
- Свой, – подтвердил Илья.

Костик дул пиво как бешеный. Рослая девка с подбитой и неискусно замазанной собачьей мордой уставилась на него. Необъятные бедра девки были с трудом утянуты в черные кожаные штаны, все в звездах железных жестоких заклепок.

– Глядите, Персидская Женщина, – мотнул головой на девку-великаншу Рыбкин. В отличие от первого кафе, в Латинском квартале, они тут все уместились за одним столиком.

Девка с подбитым глазом, неистово трясая в разводах дыма кулаками, что-то хрипло выговаривала тому, кто стрелял.

– О чем они?

Мара медленно подняла лицо от бокала с пивом и прочитала в лице Пьера: наконец-то ты посмотрела на меня.

– Она говорит ему о том, что он зря стрелял в этого мальчика. Она говорит, что было бы лучше, если бы он убил ее. Ей надоело жить. Жить той жизнью, которой она живет.

Он произнес мягко, с акцентом – «живьет».

В пивнушке все орали, все галдели, стоял густой и плотный шум, как на вокзале, все еле слышали друг друга, и в этом спасительном шуме Мара придвинула лицо ближе к Пьеру и тихо спросила, и он не услышал, а прочитал по губам:

– Пьер, а у вас есть жена, дети?

Спросила и устыдилась. Может быть, это был слишком интимный вопрос?

Она сразу увидела, как он отчуждился, омертвел, на миг исчез лицом, будто осенний лист ветром отдуло, отнесло в сторону от идущих мимо ног.

«Ох, не надо было», – закусила она губу, а он уже говорил, с трудом, будто себя не понимая, подбирая слова:

– Моего мальчика убили. Он был революсьонер. Ре-во-лю-сио-нер. Экстремист. Его убила полиция. Демонстрация. Как это. Стачка. Стычка. Он хотел революции. Новой жизни. Его мать умерла тоже. Скоро после него. Быстро. Она не захотела жить. Она выпила лекарство. Слишком много. От-ра-вила себя. Отравилась, так тоже можно сказать по-русски?

Дым, и гам, и подземный гул, и пахнет выстрелом, и пахнет пивом, и пахнет смертью, чужой, своей. И это тоже Париж. И этот чужой человек, в неизменном черном смокинге, говорит ей о своей семье, которой нет, и все так же, безотрывно, смотрит на нее.

«Он смотрит на меня, будто тонет, а я его спасаю», – догадалась она.

– Видите, какая мы, Франция, ре-во-лю-сионная страна.

В чадном сером дыму бармен за стойкой, врубив на полную мощность «Scorpions», похабно пританцовывал, подбрасывая и ловя красную рюмку, – жонглер, гистрион, циркач дешевый.

В последний вечер в Париже художники никуда не поехали. Пьер сказался занятым.

Они плотно, весело поужинали в их гостинице, дешевенькой, но миленькой, кормили тут от души, и простыни пахли лавандой. На ужин подали лионские кнели в белом соусе, курятину, жаренную в сухарях, брюссельскую пареную капустку, все дружно наливали из аленьких деревянных бочонков сколько хочешь вишнево-алого терпкого вина, – может быть, с Роны, а может, с Луары, а может, с виноградников Бургундии, да все равно. Мара пила вино, как

чай. Илья терпеливо ждал, когда она допьет и доест; он смел ужин с тарелок быстро и жадно, первым, и теперь тихо ждал ее, уперев локти в столешницу, молчал.

Потом они пошли в номер, в их одноместный номер. Илья долго стоял под душем, фыр-кал, мылся всласть. Он очень любил воду; в Самаре Волгу переплывал; любил париться в бане, а баню даже живописал, Маре очень нравились его банные этюды и большие холсты – с нагими яблочными телами, с павлиньими хвостами ярко-зеленых венников, с розовым снегом у мышино-серых кургуzych срубов. Особенно тот холст, где молодая баба, с телом сияющим и бело-алым, как спелый налив, присев на корточки, укутывает после бани в козью толстую шаль маленькую девчонку. Маре казалось: эта девчонка – она сама. А потом еще казалось: это у них с Ильей родится вот такая, точно такая.

Илья вышел из душа. Пощупал взглядом разобранную отельную кровать. Она была совсем не широкая, как показывают в роскошных фильмах, а узкая и неудобная.

– Вот и подошел к концу наш Париж.

Он крепко растерся полотенцем и стоял перед Марой голый, даже без плавок. Она отвела глаза и отвернула лицо, чтоб он не видел, как она покраснела. «Ну девчонка совсем, и чего стесняется». Илья обмотал полотенцем крепкие, как бревна, бедра. Он был крепкий, сильный, мощный, и художник был такой же, как сам статью – мощный, слегка жесткий, резко положенный мазок, мощно зачерпнутая и смело кинутая на холст краска. Он был мощный мужик, а она была робкая девочка, малышка. И ее надо было кутать после бани в пуховый платок.

– Да. Было так хорошо.

Халатик разошелся на ее груди, она не чувяла этого, и Илья смотрел на нежные соски, на сетку ребер под тонкой перламутровой кожей. «Как натурщица Ренуара», – подумал он.

Он услышал в ее голосе: как не хочется возвращаться.

– Придется вернуться, – вслух сказал он.

– Вы договорились со своей выставкой в Гран-Пале?

Голос Мары чуть дрожал. Так дрожал, он вспомнил, последний высокий, занебесный органнй звук в соборе Сакре-Кер.

– Да. Договорились. Аллочка обо всем договорилась. Мы сделаем в Гран-Пале хорошую выставку. На будущий год. Пять художников, и у каждого, считай, персоналка. Пять залов смело займем. Если мы с тобой продадим здесь хоть одну мою работу, хорошо продадим – я сразу отдам взнос за мастерскую в Москве.

– Да. Было бы очень хорошо.

Мара закрыла глаза. Илья подошел к ней, просунул руки ей под мышки и осторожно приподнял ее. Она висела у него на руках, маленькая, легкая, большеглазая, ногами не касаясь пола.

Так он и перенес ее в кровать.

Они сначала любили друг друга, а потом, нацеловавшись, быстро, сраженно уснули. Они ведь почти не спали все эти ночи в Париже. Почти не спали.

Они уже сидели на чемоданах, когда в номере раздался телефонный звонок.

Илья копошился, застегивая «молнию» на дорожной пошарпанной сумке, и Мара сняла трубку.

– Але!

Она улыбалась. Важно было все время улыбаться.

– Мара! – услышала она в трубке. – Я в машине внизу. Я жду вас! Ваше решение...

– Да, – говорила она, прилепив улыбку к губам последним мужеством, – да, спасибо!

– ...решение, и целая жизнь впереди! Другая жизнь. Вы понимаете, другая!

«Он оденет меня, как куколку?! Он скупит и бросит к моим ногам все норковые шубы мира?! Он купит нам виллу на Лазурном берегу?! Он покажет мне всю Францию, всю Европу, весь мир, и мы оба будем счастливо смеяться, видя, как проплывает теплое море за окнами нашей яхты?! И мы родим двух детишек, и мальчик будет вылитый он, а девочка – вылитая я?! И я больше никогда не буду тоскливо глядеть в тощий кошелек?! И у меня больше не будет никогда урчать от голодухи в животе?! И я больше никогда не буду топить печку-голландку в бабкином пустом доме, а пописать бегать в крашенный известкой ветхий нужник во дворе, у сараев, в метель и стужу, стуча зубами?! И я больше никогда не буду грунтовать вместе с Илюшкой холсты?! И я больше никогда не буду нюхать запах масляной краски, никогда, никогда...»

– Другое счастье!

– Да, – она держала улыбку губами и зубами, держала изо всех сил, – мы так рады! Мы так благодарны вам!

Илья разогнулся и оторвался от сумки. Теперь он глядел на нее.

Важно не уронить улыбку. Важно держать ее. Все время, все время крепко держать ее. Не выпускать.

– Вы вернули мне жизнь, Мара!

Илья слишком прямо, слишком понимающе смотрел на нее.

Он не мог поймать ее глаза. Они улетали. Они взмахивали большими темными, то коричневыми, а вдруг синими крыльями и улетали.

Он видел только ее улыбку.

– Да, – говорила она, зажав улыбку в зубах, как бандитский нож, там, в той дымной, адской пивнушке на Монмартре, – и я тоже!

Он слышал мужской голос в трубке. Он хватался глазами за лицо Мары, улетающее, ускользающее. Летящее, невесомое, легкое ее лицо. Мышцы его застыли, как на морозе, сведенные под кожей в твердые бугры ожиданием, ужасом, болью.

– Мара! Мара!

– Спасибо.

Деревенели губы в улыбке.

– Мара! Cherie...

– Спасибо за все.

– Мара, я жду! Я буду ждать!

Улыбка вырвалась и вспорхнула с ее лица вверх.

А потом упала, как подстреленная. Упала на паркет.

– Кто это?

Илья сжимал кулаки. И Мара видела эти сжатые добела кулаки.

– Это Пьер. Он желает нам всем счастливого пути.

Через час Мара украдкой выглянула в окно. Черная лаковая машина Пьера стояла внизу.

Еще через час все вышли на улицу с сумками, чемоданами и рюкзаками.

Перед гостиницей красным революционным флагом мотался на сыром ветру красный каштан.

– Ну что, скинемся на такси? – неувядаемо выкрикнула веселая Алла.

– У меня осталось только двадцать евро, – проканючил Толя Рыбкин.

– У меня есть деньги, – жестко сказал Илья.

Черная машина подкатила сбоку. Стекло отъехало вниз.

– Пье-е-е-ер! – счастливо завизжала Алла Филипповна. – Ура-а-а-а!

– Я подвезу вас в аэропорт, – сухо сказал Пьер. – Садитесь. Вещи в багажник и на колени.

Он был неузнаваемый. Он был как чужой. Молчал все время. Зато другие говорили. Аллочка трещала, как трещоткой гремучая змея, ахала и охала, вертела головой: прощай, площадь Этуаль, прощай, Триумфальная арка, пока-пока, Елисейские Поля! Хомейко костерил Париж в хвост и в гриву, ибо три дня провалялся в гостинице с расстройством желудка. «Съел, проклятье, эту французскую жабу – и, тудыть-растудыть, не переварил!» Костик лениво пережевывал во рту слова, беседуя с Толей Рыбкиным о манере импрессионистов: это все давно устарело, старик! Да и Черный квадрат, этюд его мать, устарел!

Илья, Мара и Пьер молчали. Им не о чем было говорить. И незачем.

В аэропорту «Шарль де Голль» все взахлеб благодарили Пьера. Алла поковырялась в сумочке и выхватила, оторвала от сердца припасенный, должно быть, для красноярцев сувенирчик – резиновую дамочку в розовеньком платье, под черной вуалькой, в черной шляпке с поддельными жемчугами: «Возьмите, дорогой вы наш! Возьмите эту чепуху! Просто – на память! А дамочка, это, наверное, – хихикнула Алла, – красавица-шлюшка с Пляс Пигаль!» С Монмартра, ледяно ответил Пьер. Алла смешалась, не знала, шутить дальше или остановиться. Персидский встал грузной ногой на поверженный чемодан, вытирал, как на пляже, лысину. Илья отвернулся. Глядел в окно.

Пьер подходил к каждому и каждого целовал. Холодно. Заученно. Как автомат. «Блин, он что как из Музея восковых фигур, мужика как подменили», – подумала, ничего не понимая, Алла Филипповна.

Мара прикоснулась к его чисто выбритой щеке холодными губами.

Пьер на миг остановил свое лицо, как лаковую черную машину, около ее лица. Щека чувствовала щеку. А жизнь уже не чувствовала жизнь.

– Adieu, mon amour, – церемонный, надменный французский шепот льдинкой проколол ухо и вышел через сердце, под холодными ребрами.

И Мара по-французски холодно сказала:

– Adieu.

Мара и Илья прилетели в Москву. Потом приехали на поезде в Самару.

Мара пошла ночевать к себе домой, в покосившуюся бабкину развалюху. «Я хочу выспаться одна», – сказала она Илье.

Она натаскала из сарая дров, затопила печку-голландку и вспоминала покойную бабушку и покойную мать. Париж казался красивым сном.

А завтра позвонил Илья.

– Мара, привет, – сказал Илья, и она не узнала его голос. – Мара, у меня мастерская сгорела. Вся. Догла. Двести работ. Пришел утром, а там одни косточки. Пепел. Я ключ Лешке Суровцеву оставлял, блядине, пили, курили, окурок бросили. Так думаю. Мара, я давно хотел тебе сказать. Мара, я люблю тебя!

И Мара заплакала в трубку.

Танго в Париже

Она дышала тяжело, она задыхалась, и капельки ночной росы блестели на ее мелкокудрявых, как у молодого здорового барашка, русых волосах, в кудерьках уже там и сям промелькивала ужасная, невозможная седина, но она старательно закрашивала ее хной – никакой химии, только сама природа, только цветы и травы.

Она дышала тяжело, вхлюпывая ночной сырой воздух с легким присвистом, она давно не танцевала, а этот мужчина, что так ловко, ухватисто вел ее в быстром, умалишенном танце, похожем на натиск быстрой здоровой страсти, здесь, на мосту, на ночном мосту через Сену, был так по-звериному прыгуч и весел, был до того уверен в себе, в каждом своем выверте и выпаде, в каждом, на ходу придуманном па, что она судорожно, обрывками мыслей, думала: что это мы танцуем... куда ногу... а, верно... ну, вот так... прогнуться... еще... еще!.. еще...

Да это и была страсть. Ей жарко, влажно дышали в лицо. К ее лоящим воздух губам приближали губы. Пружинистые колечки ее когда-то бывших золотыми волос – «настоящее золотце волосики у девочки, ох, отбоя не будет от мужиков!..» – вздыхала когда-то ее мать, известная на весь Хабаровск благородная «ночная бабочка», ибо давала она не всем, а только именитым, богатым и знатным хабаровчанам, – намокли от пота, закурчавились еще больше. И эти мокрые потные колечки хватали табачным жарким ртом, к ним прижимались щекой. И – щека к щеке. Одна пышущая жаром, влажная как после купанья щека – к другой. Ожог чужого лица на лице. Ожог чужого бедра – на ее ноге, и нога сама закидывается за ногу мужчины. О, она чувствует, как там, внизу поджарого живота, у него все напряжено, натянуто струной. Ей хочется щипнуть пальцами эту крепкую живую струну. Зазвучит?! Ей хочется... раздвинуть ноги... нет, сильнее, крепче сжать...

Она уже по-настоящему задыхалась. Мужчина схватил ее за кисть руки и сильно, властно крутанул руку сверху ее растерянно закинутой головы. Она крутнулась вокруг своей оси на одной ноге, как огромная живая юла, живой волчок, детская игрушка. Чуть не упала – ее повело вбок, но успела поймать равновесье, и спасительно, крепко вцепилась обеими руками в мужские, горячие под расстегнутой рубахой плечи.

Пахло чужим мужским потом. Пахло чужим мужским парфюмом. Пахло сырой рекой под старым мостом.

«Боже, и от меня ведь пахнет потом... я вся мокрая как мышь...»

– О, madam... – выдохнули ей в ухо, а потом слегка, призрачно, мгновенно, прикусили зверьими зубами мочку, а потом поцеловали ее ушко под кудряшками. – S-il-vous plait...

«Он просит: пожалуйста. Он хочет, чтобы я танцевала еще... еще...»

Он перегнул ее назад, чуть не переломил ей хребет, но она быстро поймала это опасное па, гибко откинула плечи, отшвырнула назад золотистую голову, как кудрявую кеглю, и свободно упала спиной, лопатками на его готовно подставленные крепкие, как две лопаты, руки – «какие крестьянские руки, какие мощные... или – как у могильщика...» – и затылком едва не коснулась блестящих, лаковых камней старой мостовой, которой был, как серой мозаикой, выложен королевский мост. Королевский или рыцарский, черт его разберет...

Он наклонил ее, гибко, отчаянно перегнутую, как краснотал, головой до самой мостовой – и резко, безжалостно рванул за руку вверх. Опять вверх.

И она повиновалась. Она снова стояла, ростом ровень с ним, и глядела ему в лицо, глаза в глаза.

Молодые, слегка раскосые, серо-синие, яркие, как синие глазки в павлиньих перьях, развеселые, проказливые глаза на высмугленном загаром молодом лице смеялись. Да просто хохотали! И молодой рот смеялся тоже! И молодые щеки! И молодые руки сжимали ее пожившие,

потрепанные бока, и молодые пальцы жадно, как по клавишам рояля, ходили по ее ребрам, гладили их, ощупывали, играли на них... эту ночную мелодию, эту музыку, музыку...

Из черного огромного, как шкаф, ящика, стоявшего прямо на мостовой, лилась музыка. Лилась эта музыка, которой она не знала, не слышала никогда.

Лилась молодая музыка. И она закрыла свои старые глаза. И она обняла молодую шею старыми руками. И она думала: хорошо, ночь, и он не видит, что у меня полно седых волос.

Что он спрашивает, этот мальчик? А, он спрашивает, как меня зовут...

Хоть это-то она поняла.

– Элен, – сказала она. – Же летранже.

«Он и так уже понял, что я иностранка. Он мне что-то бебекал, а я ничего не отвечала. И мой ломаный, дикий французский...»

– О, madame! – Снова близко губы, но не целует. – C'est magnifique! C'est superbe!

А вокруг них танцевали пары. Пары сцеплялись, как звери в лесу, и порхали, как бабочки над цветущим лугом. Пары съединялись и разъединялись, и нежно женщины клали руки не мужские бычьи шеи, и тонкие девочки гнулись, как виноградные лозы, в руках серебряных стариков, а тут танцевали не только поджарые стройняшки, но и одышливые, и грузные, и тучные боровки, и лысенькие дядюшки, посреди танца расстегивая еще одну пуговку на рубашке; пары смеялись и ворковали, пары слушали и не слушали музыку, что лилась, как волшебная река, из старого магнитофона, о, и не только оттуда она лилась, а вон, у перил, сидят трое живых музыкантов, и один играет на банджо, другой – на гитаре, ухо к рокочущим струнам склонив, а третий – на каком-то странном смешном инструменте, на русскую гармошку похожем, она потом узнала, что он зовется бандонеон, – а музыка не кончалась, и одна мелодия сменяла другую, и один танец наплывал волной на другой, и это был один бесконечный ночной танец – танец-полет, танец-объятье, танец-запоздалая-любовь, танец-жизнь, – а ведь можно и станцевать танец-смерть, думала она в такт с прерывистым, рваным дыханьем, только кто и когда меня на него пригласит?... скоро, скоро... быть может, скоро... а может, никогда...

До рассвета было, по всему видать, далеко. Огромная железная ажурная башня железной морковкой торчала над ними в ночном промозглом небе, подсвеченная мощными белыми, как белые молнии, софитами. Кажется, и вправду собиралась гроза. Со стороны Дома Инвалидов шли тяжелые бугристые тучи, они заслоняли туманные, рассыпанные мелким бледным жемчугом по серо-розовому небу звезды. Город огнями подсвечивал небо, и небо пугало отсветами людского костра. Вот заморосил мелкий дождик; в России сказали бы – грибной, а здесь как говорят? Гитара звенела, гудела, рокотала. Банджо плакало, и тягуче, моляще пел бандонеон. Мужчина услышал новую музыку, его ноги сами задвигались, его руки опять стали направлять ее, гнуть, понукать, толкать, увлекать.

«Что он меня, как лошадь какую-то... А хорошо, Боже, как хорошо...»

На миг мужчина прижался к ней, прижался всем долгим сухим и мускулистым телом, впалым бешеным животом, влип в нее, вжался, вбил на мгновение жарким твердым гвоздем, и она, бессознательно и крепко обняв его, тоже всем телом ответив ему, чуть не кончила.

Поймала глоток воздуха ртом.

Горело подсвеченное земными огнями небо. Горели тучи, несли в брюхах позднюю осеннюю грозу. Горели у танцующих под ногами и на перилах моста зажженные свечи, светильники, лампы, фонарики, чтобы женщина в рискованном па не запнулась, чтобы мужчина видел, как горят глаза его милой тангеры. Горели щеки. Печью, просящей дров, горели губы, молча просили поцелуя.

«Что он опять шепчет?... Я задыхаюсь... я сейчас задохнусь... какая радость...»

В Париже, на мосту Искусств, напротив Лувра, недалеко от Эйфелевой башни, происходили традиционные ночные танцы. Люди собирались на мосту, зажигали огни и так, среди

огней, среди живого пламени, упоенно, сладострастно, весело танцевали тут, под самодельную музыку, весенними, летними и осенними, а то и зимними ночами, если зима теплая выдавалась, – с давних времен.

* * *

Ее звали Елена Кружка, но это была не ее родовая фамилия, а фамилия ее второго мужа. За первым мужем, мальчиком-студентом, она была замужем всего десять дней, а потом он сошел с ума, и его отвезли в лечебницу. А Елена осталась беременной, и долго не догадывалась об этом; а когда догадалась ее мать, поздно было делать аборт, и ей вызвали искусственные роды.

Елена очень плакала, до безобразных мешков под юными огромными глазами, и вскоре, взяв себя в руки, наученная мудрой матерью, хорошо, правильно пококотничала с соседом из квартиры напротив – и вышла замуж второй раз, и тут же, опять же по совету матери, забеременела снова, и ребеночка родила. Девочку. Назвала Прасковьей. Мать ревела ревмя: ну что это за имя такое, что, что?! За что такое наказание девчонке?! Елена отмахивалась: брось, маман, сейчас самые модные старые имена, а разве не так твою бабушку звали? Это память рода, блин, не понимаешь ты!..

Второй муж, бездарный журнальный фотограф, Елену бросил, не проживя с ней и полгода. Он увидел: девка смазливая, броская, короткие юбочки пялит, от ребенка, сиськи, молочком набухшие, под французский лифчик заправив и ротик кукольный, сладкий перламутровой помадой густо сдобрив, бежит по дискотекам да по ресторанам, якобы с подружками, мать ее, – ну какая это мать?

А годы обрушились тяжкие, страна по швам трещала и ломалась, как сухая ветка в саду под напористым ветром, и таежный холодный ветер дул в красивое лицо Елены и в уши ей, с крохотными алмазными сережками, да, мамкин подарок, – а что ты, мамка, от тещи своих мужиков, с которым спала, поимела? Деньги нам на жизнь, трем матрешкам: тебе, мне да малышке Пашке?! Ах, мамка, брось... Старая ты уже. Лучше – я буду работать. За тебя. Пойду по твоим стопам. Ничего. Выживем.

И Елена стояла перед зеркалом и яростно мазюкалась, и курчавую баранью стрижку крепчущим лаком для волос поливала, чтоб прическа стояла колом, намертво, стояла насмерть, пока она сидит в ресторане, за богато накрытым столиком, и вертит за ножку алмазно горящую, хрустальную рюмку с дорогим коньяком, – «я должна выглядеть на все сто, мамулик, нет, на все двести!» – а мамка плакала, прижимала к губам морщинистую руку, глядя на дочь прозрачными, почти белыми, как зимний зеленый лед на Амуре, громадными глазами: этот небесный взор она передала дочке по наследству, доченьке, начинающей, неопытной хабаровской шалаве.

– Мамулька! Не пропадем! – кричала Елена матери и хулиганисто подмигивала себе самой в битое, с потертой амальгамой, любимое трюмо. И жемчужную низку себе на гибкую белую шейку ловко нацепляла. Все говорили, она похожа на американку, а может, какая-нибудь из ее бабок и согрешила с американцем, их много являлось здесь, на Дальнем Востоке, и до революции, и в гражданскую, и в Отечественную войну; а кто говорил – на французенку она похожа, ну да, кудрявая, легкомысленно хохочет, бойким задиком перед мужиками вертит. «Бабочка ты капустница! – вздыхала мать. – Я не хочу своей судьбы для тебя, ну пойми ты!»

Когда Елена, после первой ресторанной ночи, принесла мамке и высыпала ей в подол японского, с золотым драконом на спине, штопаного шелкового халата пригоршню денег – рублей и долларов вперемешку, – мать прижала обе руки к щекам и так сидела, сидела. А Елена отвернулась, скинула с себя короткое блестящее, как рыба чешуя, платье, такое короткое, что не только ноги, а вся писька на виду, и пошла в ванную – душ принимать, мыться, отмываться.

Она стояла в душе долго. Так долго, что потеряла время и себя в нем.

Водила руками по мокрым кудрям; выдыхала с шумом воздух; слушала, как вода нежно, любовно течет по ней, будто руки мужчины гладят ее; улыбалась чему-то с закрытыми глазами. Открыла глаза. Из зеркала над ванной на нее глядела невероятно, неистово красивая молодуха, и зубы чуть поблескивали под вздернутой, набухшей, как переспелая ягода, губой.

Той ночью Елена сняла в ресторане жуткого богатея, заправила всеми дальневосточными рыбными хозяйствами. Заправила накормил ее до икоты красной икрой, заказывал дорожные марочные вина, дегустировал их вместе с хохочущей Еленой – и так оставлял початые бутылки на столе, и требовал еще, еще, иных заморских вин, французских, испанских, аргентинских, – уставил стол крабовым мясом, блюдами с гроздьями винограда «кардинал», а у него ягоды такие большие, размером с китайское яблочко, – «а какой у вас размер?» – игриво и нагло, беспардонно хохотала Елена заправила в сытую рожу, а он не терялся, взмахивал лапищей над столом, дирижер своей сытой жизни: «В самый раз!» – и они, даже не отведав и половины заказанных яств, встали из-за стола, снялись, как перелетные птицы, и вышли из зеркальных, стеклянных дверей, и им в спину подобострастно кланялись халдеи и вышибалы: «О, хозяин идет!.. Глянь, какую классную козочку подцепил!..» – и она разделась перед ним прямо в его машине, до гостиницы оба не дотерпели.

Так Елена стала ресторанной девочкой. Стала – профессионалкой.

Она направлялась обычно в самые дорогие, в безумно дорогие рестораны Хабаровска, что живо выросли на развалинах рухнувшей страны, как красивые ядовитые грибы: двигала туда не одна, одной всегда плохо, слишком скромно, слишком жалко как-то, сразу видно, издали, что – девчонка прибыла на охоту, и ружье на взводе, и высматривает из засады дичь, а дичь-то умная, дичь этого не любит, когда – все сразу ясно. Она шла в ресторан в компании, и компанию ей составляли ее подружки. Подружки – две, три, четыре, бывала и одна, когда как получалось, – все были хороши как на подбор, все одевались одинаково – обнажали ноги, ноги должны быть всегда на виду, ноги, глаза и губы – главное оружие умелой шлюхи, – но Елена была одета наглей, чем все, и ноги были у нее длинней, чем у всех, и она была, спору нет, красивей, чем все. Да что там – она была просто ослепительной! На нее было больно глазам глядеть, когда она, выгнув длинную обнаженную спину и выпятив грудь, в вырезе открытую до торчащих сосков, подцепляла вилкой кусок омара и запивала его жадным, крупным глотком «Ркацители».

Она никогда не стеснялась. Ей были неведомы стыд и смущенье.

Мужики, завалившиеся в хороший ресторан хорошо пообедать, от пуза, немедленно заглядывались на прелестных девочек там, за тем столом. Посылали к их столу гонца-халдея, с откупоренной бутылкой ледяного шампанского в угодливой руке. Халдей разливал шампанское по бокалам, подружки хихикали, Елена сохраняла ледяное спокойствие. Она иной раз могла убить этим ледяным спокойствием ледяно-красивого лица, ледяной насмешкой краше-ных дорогим блеском губ, ледяным, как у змеи, взглядом.

Да, она умела убивать мужчин взглядом. И тем быстрее они бежали к ней, уже мертвые.

«Вы не знаете, бедняги, что вы уже мертвы», – усмехалась живая Елена, подцепляя мужиков на вилку, как белое, сладкое крабовое мясо. Она ела их прямо из тарелки. Она запивала их белым вином. Она высасывала, темной ночью, их до косточки – где угодно: в гостиничных номерах, где ее духами пахли жесткие простыни, в их «вольво», «мерседесах» и «ауди», пахнувших сандалом, кожей и неотмытой пьяной блевотиной, а то и на природе, в таежной глухомани или на пустынном берегу Амура, правда, не любила она природу из-за палачьих комаров, – и до нитки их обирала. И они и пикнуть не могли, ибо были ведь уже мертвые.

Красота страшна, говорила Елена себе, расчесывая густые молодые волосы стальным лошадиным гребнем; я вижу плоды войны моей.

А мать ее и дочь ее были всегда сыты, одеты, обуты, и они жили безбедно, в самые лихие, кровавые и нищие годы страны их.

* * *

Много читала Елена в те безумные годы хламных и мусорных книжек, что выплескивались, как цунами, на прилавки книжных магазинов: романчики про дам и кавалеров старых времен, кровавейшие и пошлейшие детективы, диковинные триллеры, оснащенные матюгами боевики, – и в них кровь лилась рекой, и коньяк там лился рекой, и ругань рекой лилась со страниц, и брызгали фонтанами спермы счастливые герои-любовники, а героини, с пистолетами в кулаках и со стилетами в зубах, обнажали перед возлюбленными круглые, как яблоки, груди и зады. Нельзя сказать, чтобы она любила эти книжоночки; она была умна и втихаря смеялась над ними, а еще – над писаками, что их писали.

Но зерно упало и взошло. Елене самой захотелось попробовать погрызть перо. Захотелось заработать денежку: ходили слухи, что издатель за такие книжки платит щедро, за одну – как за десять ее ресторанных ночей. Хотела ли она славы? «Славу оставим классикам, старым пердунам, а я от денег не откажусь», – улыбалась себе Елена перед старым трюмо. Компьютеров тогда еще не было в помине; она купила пишущую машинку «Москва» и сразу, с ходу, без всяких предварительных мыслей, настукала на ней свой первый в жизни авантюрный роман.

В ее первой книжке было все: и драки на шпагах, и безумные погони на горячих конях, и пылкие дамы с грудями в кружевах, и страстный шепот графов и князей, и объятия с крестьянками на сеновалах, и навалом драгоценностей, все просто полыхало рубинами, сапфирами и бриллиантами, а может, дешевыми стекляшками в калейдоскопе, а самое, самое главное – там было очень много, на весь роман штук десять, а то и двенадцать, она не считала, описаний, как мужчина совокупляется с женщиной. Она нюхом чуяла: да, время настало, время изменилось, и сейчас, сейчас вполне можно в открытую, нагло писать об этом.

Печатать Елена умела, и пальчики ее быстро клевали тугие клавиши. Она описывала, как герой и героиня любили в карете; в телеге; в чистом поле, среди ржи и васильков; на палубе пиратского корабля; в дворцовых покоях; в нищих притонах; как они ухитрились даже, скача на лошади, ловко и грубо спариться. Она подробно и смачно, цинично живописала акт, выворачивая тайну, как чулок, наизнанку, не стесняясь постыдных слов и жестов – ведь она никогда ничего не стеснялась. Она облизывала розовым лисьим язычком рот, отхлебывала кофе из чашки, что ставила рядом с пишмашинкой, и под ее быстрыми пальцами блестели чужие глаза, раскрывались ладони, раскрывалась влажная, срамная алая раковина, напрягалась живая, в узорах наполненных кровью вен, флейта – она так и писала: «живая горячая флейта», – и на флейте этой играли умелые женские руки и губы, и животы склеивались горячим сладким потом, и мужской горячий штык протыкал скользкую женскую расщелину, и... и, Боже мой, и... и...

Она с презрительной улыбкой обнажала тайное; она делала его вкусным и явным. Чтобы его можно было, облизываясь, сожрать, как хорошо прожаренный лангет в ресторане.

Она никогда не повторялась. Она вспоминала все свои ресторанные ночи, далекие и близкие, и тщательно, дотошно переносила их на лист бумаги, белым собачьим языком свисающий из пишущей машинки.

Она волновалась, когда об этом писала.

Она отправила первый свой роман в громкое, шикарное столичное издательство, а уж строчила второй – книжки недуром поперли вон из нее, как при нересте икра из красной рыбы, из кеты сумасшедшей. Она и сама не ожидала от себя такой писучей прыти. Издатель ответил скоро и восторженно. «Это то, что надо! Мы мечтали о таком авторе! Вы – самородок!»

Да, я самородок из таежной глубинки, а вы прожженные столичные штучки, но вы увидите, как я заверчу вами, закручу! – подмигивала Елена себе самой, как всегда, часами торча у трюмо, подводя глаза, выщипывая густые русые брови. Придумайте псевдоним, велят они мне? Ну да, надо бы! Что это за фамилия такая – Кружка! На обложке ведь будет стоять, и что, Кружка?! Ужас. Фи.

Столица была в восторге от нее, а она была в восторге от обещанного гонорара. Книжка вышла быстро, почти мгновенно. Гонорар прислали стремительно. Мать плакала от радости над обложкой, где исступленно целовались герой в расстегнутом камзоле и героиня в полусодранных с груди кружевах. Над кружевной кралей с грудями декольте, похожими на чарджоуские дыни, было оттиснуто сусальным золотом: «ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВА».

Мать поцеловала золоченую обложку. Елена отправилась с подружками в ресторан – кутить, отмечать дебют.

В тот вечер она встретила в ресторане своего третьего мужа. Мрачный мужик, похож на таежного охотника, отметила она, стреляя по сторонам изумрудными, водяными глазами, – и сидит один, и не жрет ничего, только на меня пялится. Ну, попляйся еще, попляйся.

Она всегда выжидала. Она была опытной охотницей. Она подпускала дичь близко, совсем близко. Она выматывала дичь ожиданьем. Когда мужик уже помрачнел совсем, и глаза его, под надвинутым козырем диких зарослей-бровей, загорелись нехорошим, бесовским огнем, Елена подняла изящную лапку и тихо, еле заметно шевельнула пальчиком. Мужик сорвался из-за столика, зацепился ботинком за край скатерти, чуть не опрокинул стол и всю посуду на нем.

Он был холост. Повез Елену к себе домой. Всю ночь Елена показывала мужику свое дикое, великое искусство.

Когда рассвело и она проснулась, хищно потянувшись в роскошной, устланной медвежьими и волчьими шкурами постели, мигом оценив обстановку: ого, особнячок будь здоров, картины по стенам, золотые побрякушки всюду, шуба бобровая на вешалке висит, а на тумбочке-то у мужика, с руки второпях ночью сдернул, часики «Ролекс» валяются, неслабый, видать, папик, здесь можно отлично пожить! – он сказал тихо и хрипло: «Я не смогу без тебя. Выходи за меня».

Мужика звали Викентий Петрович, он занимался серьезным непонятным бизнесом, а в свое удовольствие еще и охотился и рыбачил. Амур-батюшка отдавал ему серебряные, живые богатства свои, и тайга отдавала, а точнее, он их нагло брал у нее – так же, как нагло брала Елена у времени славу и деньги.

Ему было плевать на то, что Елена была проститутка. Это для него даже был особый перчик, хитрая горчинка для вкусного блюда. Себя Елена несла ему в постель на золоченом блюде каждую ночь, а еду готовить она и так умела отменно. «Любовница, повариха, талант! – хрипло рокотал он друзьям, за водкой под красную рыбку, под медвежатинку, он сам медведя завалил, в одиночку. – Нет, мне привалило круто!»

Недолго радовался Викентий. Недолго возились они и шалили, играя с маленькой Прасковьей на медвежьих шкурах. Недолго дарил он любимой, искусной в ласках женушке золотые кольца и кулоны с брильянтами. В Хабаровск прибыл однажды знаменитый московский писатель, и Елена пришла с ним на встречу в сверкающий старинными люстрами зал, и нахально подошла к нему, как всегда, в погибельной мини-юбке, и дородный дядька, с залысынами и серебряной важной сединой, уставился сначала на ее ноги, потом – на ее грудь, потом – в ее русалочьи глаза. «Я печатаюсь в Москве», – разлепила Елена сочные губы и показала все ровные, на подбор, как перлы из амурских ракушек, зубы во влекущей, яркой улыбке. Мэтр, не чванясь особо, при народе обнял ее за талию и привлек к себе. «Поехали со мной в Москву», – выдышал он Елене в лицо вчерашним коньячным перегаром.

Елена переспала с ним в ту же ночь, в гостинице. Роман разгорался, как страшный таежный костер. Мэтр сразу потерял голову от амурской красотки. Елена требовала от мужа денег на бесконечные полеты в столицу. «Через всю страну! – орал муж. – Через всю! Уже восьмой раз за этот год!» Викентий Петрович все вызнал, выкрал и телефон писателя из Елениных бумаг, и сам, зубами скрежеща, слетал в Москву, и выдался с покорной и молчаливой, как служанка, писательской женой, и вывалил ей всю срамную подноготную – и все напрасно. Он обезумел. Напивался вусмерть, ставил голую Елену спиной к стене, брал охотничье ружье, заряженное, она это знала, – рисовал углем у нее на груди, на животе мишень – и целился, и стрелял, да, конечно, стрелял мимо, пьяный разве попадет, и кидал с грохотом ружье на паркет, а нагая Елена стояла недвижно, и даже было незаметно, как дрожала, только губы ее шевелились, медленно раздвигаясь, презрительно улыбаясь.

Она сказала третьему мужу: я останусь с тобой, если ты поменяешь дом на Амуре на квартиру в любом городе рядом с Москвой.

Он поменял.

* * *

Они переехали жить из Хабаровска в Нижний Новгород, красивый, грязный, безумно-ярмарочный и провинциально-заносчивый старинный город на берегу большой реки Волги. Елена усмехалась: там Амур-батюшка, здесь Волга-матушка. Москва была в шести часах езды на скором поезде.

Елена строчила свои дамские романы без устали. Викентий часто вставал в дверях, не смея пройти в кабинет, где стрекотала сначала старая машинка, затем новомодный компьютер, сжимал зубы и думал тяжело, липко, пьяно: железная леди, железная баба. Железная! Из стали. Но какая пизда! Как вино.

«Не ты первый пьянеешь, не ты последний», – цедил ехидный голосишко внутри.

Елена издала пять, восемь, десять, двадцать любовных романов. Она заполонила дамскими романчиками, как горячими, с пылу-с жару, пирожками, лотки и магазины: ешь не хочу! Потом она попробовала накропать детектив. У нее получилось. В каждом романе она с наслаждением, со сладострастием малевала свой портрет – там всегда была такая героиня, ну вылитая она: и кудрявая, и огнеглазая, такая ловкая, сильная хищница, такая амурская тигрица, и перед ней штабелями ложились мужики, дохли от нее, теряли разум, стрелялись, спивались, уходили от жен и детей.

Она строчила и строчила легковесные, поцелуйные и кровавые книжки свои, и отвозила в Москву на скором поезде рукописи свои; и в издательстве полюбили ее, ибо она приносила издательству немалые деньги, и привечали ее, поили чаем и кофе, а то и хорошим коньяком, и вишню в шоколаде ей к носу пододвигали, и платили ей хорошо, даже очень хорошо, и требовали от нее, чтобы в книжках ее все больше было любовных, бесстыдных сцен, все больше, больше, больше!

И она так и делала: все больше, все больше, больше.

И ее третий муж, собрав чемодан, выпив без закуски бутылку дорогого французского коньяка, один, на кухне, под иконой Божьей Матери Хахульской, и капнув на сжатый кулак одинокой слезой, ушел от нее.

Ее третий муж ушел к другой женщине, к хорошей и простой; некрасивой, доброй и беззащитной. Новая жена Викентия Петровича не писала книжек. Она фаршировала ему щуку и, вынув желто-зеленую, хризолитовую икру из щуки, солила ее в литровой банке.

А влюбленный мэтр сначала дарил Елене и Прасковье золотые цепочки и часики, совсем как Викентий когда-то, и кулончики и колечки дарил, и туры в Венецию дарил, и норковые

шубки дарил, и себя, осетрину не первой свежести, уже на корвалоле и валидоле, крадеными ночами дарил, а потом перестал дарить.

Состарился.

* * *

И выросла дочка Прасковья; и выучила ее Елена сначала в Нижегородском университете, а потом в Сорбонну, в Париж, снарядила. Деньги на дорожную заграничную учебу дочери у нее были уже отложены; щедро платило ей столичное издательство, не скупилось. «Не теряйся, девочка, – сказала дочери Елена на прощанье, расцеловав ее и перекрестив легко, порхающей рукой-бабочкой, с сухими сильными пальцами в крупных ярких перстнях, – жизнь одна, и в жизни надо уметь ловко брать все самое роскошное с чужого стола. Для этого у тебя, запомни, родная моя, есть юный передок и прелестное личико».

И мать подмигнула дочери, как раньше подмигивала отраженной в старом зеркале самой себе.

Дочь пребывала в сказочном, призрачном дальнем Париже, а Елена жила одна в своей красивой, богатой, обставленной по последнему слову нижегородской квартире.

В ее обширных и гулких, как концертные залы, комнатах отчего-то было слишком много роскошных, до потолка, зеркал, и в тяжелых лепных оправках, и в усыпанных самоцветами, вымазанных дешевой позолотой, как пасхальные яйца, деревянных багетах, – видать, любила Елена на себя любоваться, а может, на досыта накормленном дорогими кремами и мазями, холеном лице первые страшные письма, пророчества о Неотвратимом искала, – но она все не выбрасывала на помойку старенькое трюмо.

Трюмо еще помнило ее жемчужную низку, потерянную в бурях жизни.

Трюмо помнило ее юную гадальную, в Крещение зажженную свечу, когда она, сидя у зеркала с подвыпившими, захмелевшими от дешевого портвейна подружками, вдруг страшно завизжала: «Вижу!.. Вижу!..» – а что видела, никому не сказала.

Трюмо еще помнило маму. Старуха-мать еще жива была там, на Амуре; еще теплила в себе жалкую жизнь, как выгоревшую до комля фитиля, нежную, коричневую церковную свечу. Елена редко ей писала. А потом и писать перестала.

Она стала совсем железной. Железной.

Она глядела на огромный книжный шкаф, под завязку забитый книгами, что она настроила за всю жизнь, и десятки корешков пестрели ее, только ее, одним ее именем, – и сначала гордая радость распирала ее изнутри: о, это все моих рук дело! – а потом суеверный страх внезапно охватывал медвежьими лапами: Боже мой, девяносто девять книжек, черт, черт, девяносто девять, – да зачем так много-то, да куда это я мчусь, к чему, я сама не остановлюсь, не остановлю эту гонку, не...

«И никто не остановит», – договаривал в ней ледяной голос.

Елена очень любила себя и любила деньги. Она любила хорошо жить.

Она пыталась верить в то, что она счастлива и знаменита.

Она жила одна, и она вставала в пять утра, и заваривала себе любимый кофе, и садилась к столу, и писала полдня, до изнеможения; а потом занималась собой, только собой, ходила на шейпинг, ходила в бассейн, ходила на фитнес, ходила на ипподром и скакала на лошади, делала подтяжки лица, вживляла себе в щеки, от морщин, золотые нити, – время катило мимо в железной колеснице, а она хотела навсегда остаться молодой и прекрасной!

К своему шестьдесят второму дню рожденья она закончила свою сотую книжку.

* * *

Еленина дочка Прасковья уже давно жила в Париже. Еще в Сорбонне Прасковья превосходно, удачно вырулила замуж за преуспевающего французика, парижанина, с четырехкомнатной уютнейшей квартиркой аж на самих Елисейских Полях. Прасковья не терялась: она родила чернявому, крючконосому, как попугай, муженьку сначала девочку Софи, потом девочку Мари-Жанн, – и была уже беременна третьим ребенком, когда мать позвонила ей из Нижнего: «Привет, старушка! Завтра вылетаю. Закончила сотый романчик... и хочу развеяться!» Может, мама, махнем в Камарг, предложила Прасковья, дымя мятной дамской сигареткой, тетешкая на руке малютку Софи, верхом покатаемся, там же такие роскошные лошадки!.. И услышала: «Ну его в задницу, этот Камарг! Жарища там. Я соскучилась по Парижу. Я – в Париж хочу!»

Париж так Париж. Прасковья с муженьком к приезду Елены соорудили русский стол: щи, блины с красной икрой, расстегаи, водочка, селедочка с лучком. Елена, усаживаясь за стол, поморщилась: дурачки вы, лучше бы мясо по-французски изжарили! Или – форель запекли в духовке! И я соскучилась по сыру, по моему любимому французскому сыру!

Ничего, мамочка, лепетала Прасковья, мы исправимся, мы завтра же, нет, сегодня же смотаемся в хороший рыбный магазин, тут рядом, на Елисейских, да, форель, конечно, и я вырезку возьму, и мы зажарим тебе мясо... на вертеле... в камине... нет, лучше на каминной решетке, так вкуснее...

Но порезала все же три сорта сыра, послушно вытащив из холодильника, – камамбер, с плесенью, потом какой-то живописный, с прожилками ореховой сладкой пасты, и – козий, с синим налетом, дико пахнувший шерстью и козьим молоком. И выставила на стол четыре бутылки разных местных вин: и красное столовое, и арманьяк, и зеленый, как лягушка, абсент к аперитиву, и – под русскую закуску – восьмидесятиградусный бурбон «четыре розы». «Вот так-то лучше», – весело сказала ее наглая мать, принимаясь за еду.

У нее юбка поползла вверх, оголилась нога, стройное, как у девки с Пляс Пигаль, бедро было все на виду, перед острыми птичьими глазами крючконосого мужчинки, но Елена не поправила юбку. Крючконосый зять все косился вниз и неслышно втягивал слюни. «Проголодался? – хитро спросила по-русски теща и двинула бокалом о его бокал. – Господи, еб твою мать, Пашка, что тут у вас вилки какие!»

Елена швырнула на скатерть двузубую вилку. «Мама, ты только не матерись, вдруг Жюль понимает, – хрюкнула Прасковья, давась от смеха. – Мама, это вилочка для торта».

О, Париж, мой любимый Париж.

О, неужели это я... это я, девчонка с Амура, таежная девчонка-оторва, сучка такая, неужели это я пропахала собой полжизни и полстраны, и я долетела до тебя, я дожидка до тебя?!

Я, хабаровская халдушка... ресторанная поблядушка... я, пролетная гусыня, били, били меня влет, да не подбили, – неужели я висела, висела в широком, холодном, рваном, раненом небе... и клювом только: га-га!.. га-га!.. воздух хватала, хватала... и долетела?..

Каждый раз, бродя по тебе, мой Париж, я это не могу осознать.

Да и не надо ничего сознавать. Надо просто гулять по тебе; дышать тобой.

Я пролетела, матушка-гусыня, много земель. И много гусаков топтали меня. И много охотников, из винтовки да из ружья, пьяные и непотребные, зоркие и трезвые, как стеклышко, стреляли в меня – а палили в белый свет, как в копеечку. А я вот она! Вот я, выжила! Простор такой, неохватный, пьянящий, железный-стальной, косматый-седой, конским железным гребнем прочесала... Подо мной, под брюхом моим белым, пуховым, под лапками красными, прижатыми к брюху в полете, легли все таежные рыжие чащобы. Все темные, угольные, все

снеговые, метельные хребты. Перевитые синие жилы всех рек. Черные ледяные рты и белые детские ладони озер. Города, города и туманы, и каменные башни, и людские лица на лестницах, на этажах, на царских площадях и в нищих переулках. И ни один город не сравнится с тобой, Париж, ибо ты – лучший город мой и лучший мужчина мой.

Да, да, ты лучший мой мужчина! Со многими мужчинами спала я, и много мужчин домогались меня. Все они – гиль и шваль по сравнению с тобой! Ты, Париж... о... когда я иду по тебе, по твоим мостовым, задираю голову и гляжу в глаза твои – в горящие в ночи окна твои, меня охватывает дрожь.

Ни одно объятие... клянусь тебе, ни одно объятие ни одного вонючего мужика не встанет рядом с объятием душистого, пахнущего кофе и сладким столовым вином, легкого, безумного ветра твоего...

Целуй меня, парижский ветер. Целуй, пока я иду по Пляс де ла Конкорд; по улице Риволи; пока я глажу копыто золото коня, а в золотом седле сидит золотая Жанна, и золотое копьё в ее руке, и глядит она вдаль, на тебя, тебе в лицо, Париж. Пока я сижу в саду Тюильри, а может, в Люксембургском саду, и кормлю голубей, их тут так много, и они такие жадные, прожорливые, и дети так веселятся, а у меня в коляске – одна девчурка, на скамейке прижалась к боку другая, а я так хорошо выгляжу, никто не даст мне моих лет, какая ж я, к чертям, бабушка, я выгляжу будто их мама, и подходит к скамейке мужчина, слегка приподнимает шляпу, пристально глядит на меня: о, у мадам такие прелестные детки!.. Разрешите посидеть рядом с мадам?.. Я понимаю не все и не всегда. Хотя уже кое-что лопочу по-французски. Господин в шляпе садится рядом. Ему лет тридцать, определяю на глаз. Эх, мужчинка, франтоват ты и хорош собой; но ведь ты не Париж! Париж – вот лучший любовник мой! Пошел вон! Я с Парижем останусь. Я ему, а не тебе, франт прохожий, подставлю без единой морщинки, гладкое, счастливое лицо.

Без морщинки?.. Загляни-ка в зеркало витрины магазина «Andre» на Елисейских Полях. Загляни в зеркало оконного стекла кафе «Греко». Вынь, дура, из сумочки зеркальце, из косметички, и туда загляни. Ты все врешь себе. Это только ты не видишь свои морщины. Эти гусиные лапки в углах огромных, болотно-водяных, речных заводей-глаз. В углах зло-насмешливых губ. Под кудерьками на лбу. Париж их хорошо видит. Париж все подмечает. Не обманывай его. Не води его за нос.

А я ему дам книжки свои почитать! Я ведь в России знаменитость!

Не ври себе, сказано тебе. Какая ты знаменитость. Ты просто зарабатываешь деньги. Поломойка трудится, возит грязной мокрой тряпкой по кафелю; трудишься и ты. Уж лучше бы кафель ты мыла в парижских сортирах! Оно было б честнее. Сто книжек! Если хорошо пахать, и тыщу можно накатать. Тебя читают, да. Бедные женщины в гулком метро. Они живут бедно и скудно, и им охота, мотаясь в унылой дороге, почитать про красивую жизнь. А из метро на солнышко выпрыгнув, книжонку твою в чугунную урну выкидывают.

Я их спасаю! Я их развлекаю! Я им... бедные душонки... лечу!

Врешь ты все. Ты их не лечишь, и ты не доктор. Ты обманываешь их. Ты даешь им свежий, зажаренный хлеб! Они покупают за грош и кусают, голодные... а внутри, под корочкой, – дрянь, опилки...

Но... может, Парижу понравится!

Нужны Парижу книжки твои, как в Петровке варешки.

А он меня, Париж мой, сегодня пригласил танцевать!

Господи, куда еще танцевать?!

А на мост Искусств. Там, говорят, танцуют по вечерам, и даже всю ночь напролет.

А что танцуют-то?

А танго, танго танцуют, сейчас в Европе жутко популярно аргентинское танго! А еще – сальса. А еще – самба и румба! А еще...

Но ты же не умеешь танцевать!

Ха! Не умею! Я все умею. Я ловкая. Я плаваю. Я скачу на лошади. Я довожу себя до седьмого пота на тренажерах. И чтобы я не умела танцевать?! Да танец – это та же любовь, только не в постели, а на танцполе!

Елена шла по любимым, знакомым с детства по книгам старым улицам, глубоко вдыхала парижский воздух – аромат кофеен, смешанный с бензинными выхлопами и речным ветром; вот вышла, стуча каблучками, на набережную Сены, и темный мрачный Лувр остался за ее спиной. Она всегда, и в юности, и теперь, ходила на каблуках. Женщина без каблучков становится просто бабой, говаривала она. Неужели мне уже шестьдесят два, спрашивала она себя, это ж черт знает что такое! Чтобы полюбоваться собой, неуязвимой, она остановилась у моста Александра Третьего, и опять вынула из крокодилей сумочки заветное зеркальце. Что это я как у Пушкина, свет мой зеркальце, скажи, – хохотнула она про себя, она еще могла смеяться над собой, и это было *charmant*. Взгляд! Р-раз! – и в овале зеркала мелькнуло лицо. Стоп-кадр! Нет, матушка, ты не фотоаппарат. И блиц не вспыхнет во второй раз.

Но на сетчатке отпечаталось живой молнией: молодое, слегка раскосое, смуглое, будто бы восточное лицо, и сигарета в углу рта, и выбрит досиня, аж кожа лоснится от усердия бритвы. Молоденький парнишка. Подглядывал, как она смотрится в зеркало. А потом – отшатнулся.

Елена быстро обернулась. Смуглого прохожего и след простыл.

– Хм, – сказала она громко и затолкала зеркало в сумочку. – Здравствуйте, коники мои!

Так она всегда здоровалась с медными громадными конями, вздыбленными у перил моста Александра Третьего, русского Царя. Ага, в прошлом году кони раздували медные, в пыльном зеленом налете, бока, а нынче их ярко позолотили... как в России церковные купола... Париж отдал честь России этим помпезным мостом. Париж знал толк в лошадях. И она тоже знала толк в лошадях. Вспомнила, как однажды, в Камарге, они с Прасковьей гнали по горам наперегонки, Прасковья на гнедой кобыле, она на белом ахалтекинском жеребце. Она первая прискакала к финишу – намеченному ими обеими абрикосовому корявому дереву, сплошь покрытому лиловыми цветами. Стоял март, Нижний еще был весь по уши завален снегом, а в Камарге все цвело. Прасковья плакала от обиды. Чтобы помириться, Елена затащила дочь в кондитерскую и досыта накормила пирожными с абрикосовым джемом. «Мама, я растолстею!» – возмущенно кричала Прасковья, облизываясь, как котенок. «Ничего, три ночи напролет с Жюлем – и трех килограммов как не бывало. А лучше и не с Жюлем». Прасковья сделала круглые глаза: «Фу, мама! Ты серьезно?!»

«Неужели ты ни разу не изменила Жюлю? – спросила Елена, усмехнулась, и все ее тайные морщины разом вспыхнули у висков разлапистыми веерами. – Это глупо».

Через пять минут они уже обсуждали двух любовников Прасковьи: одного из Страсбурга, другого из Гавра. Оба бывали в Париже наездами. «У кого из них лучше хрен?» – без обиняков спросила Елена. «У Жюля, конечно!» – весело и быстро ответила смышленная дочь.

Вечером Жюля, Прасковью, Елену и девочек пригласили отметить новоселье друга Жюля, молодого владельца трех модных лавочек в районе улицы Сент-Оноре. Гостей встретили в заросшем виноградными лозами, тенистом дворике – таком наивно-захолустном, странно-провинциальном в блестящем фешенебельном Париже. Стол был накрыт под полосатым тентом. Солнце катилось на закат. Елена с удовольствием поглощала фрукты, горками наваленные в вазах и на подносах, не чинясь, пила вино, смело пробовала разные вина: бутылками, бутылками и крохотными бутылочками был уставлен весь стол. Французы сходят с ума от вина и сыра, подумала Елена, уписывая за обе щеки вонючий, как портянка, камамбер. Хозяин поставил перед ней, именно перед ней круглое, как колесо, глиняное блюдо с жарким.

Густой, клубами, пар поднимался от громадного куска мяса, покрытого коричнево-красной, янтарной корочкой.

– Скажи ему: я восхищена французской кухней, – шепнула Елена Прасковья.

Дочь послушно перевела. Хозяин ослабил.

– О, мадам...

Он зашебетал, как майский соловей. Прасковья наморщила лоб:

– Он говорит... он говорит... он хочет, короче, чтобы ты с ним станцевала! Потому что это не просто вечеринка по поводу новоселья... а милонга!

– Что такое милонга? – громко, по-русски, на весь стол спросила Елена.

И оглянулась.

И только тут она поняла, что да, вечерушка-то не простая: на скамьях вокруг стола сидели на одной стороне – мужчины, на другой – женщины, и на столе горели свечи, ведь был уже поздний вечер, о, это значит, их здесь оставляют пировать на всю ночь?!.. а эта музыка, откуда она?!.. ниоткуда... это так пахучий, ароматный воздух звучит, это так поет ей в уши Париж, она никогда не слыхала такой дивной музыки, это... волна несет ее, она сейчас утонет, что это?!.. а-а-а-ах...

Елена сама не поняла, как оказалась в руках, почти на руках у хозяина, а он был верткий, как веретено, и ее он в незнакомом танце вел и крутил, сгибал и разгибал, и она покорно подчинялась его рукам, движениям его ног, худых, как у кузнечика, она слушала музыку и отдавалась музыке, музыка владела ею и владела им, и внезапно она поняла: быть в танце, быть танцем, стать этим вечером, стать виноградной парижской лозой, стать этим старым бокалом с витой, позолоченной ножкой в руках мужчины, что мнет, гнет и крутит ее, что руками и музыкой лепит ее, – вот счастье! Вот радость...

Они танцевали, и гости били в ладоши в такт музыке, в такт их широким и гибким шагам, и свечи горели, и рвал и мотал живые золотые языки вечерний ветер, и бил, как чье-то близкое, робкое сердце, бил барабанчик, и пел, тягуче и томно, аккордеон, и пел чужой жгучий, кофейный голос над головами людей: о любви и смерти, о такой страсти, что перелетит моря и океаны, что забьется в груди, как птица. О страсти с запахом винограда. О женщине с запахом жизни.

И танец не кончался.

И танец кончился когда-нибудь.

Хозяин довел ее до скамьи. Она шаталась. Тяжело, бурно дышала. Прасковья изумленно смотрела в ее лицо, раскрасневшееся, безумное, молодое.

– Мать, ты скинула тридцать лет, – шепнула она ей. Зависть и восторг прозвучали в ее голосе. – Я бы тоже потанцевала. Да ему, – она показала пальцем на свой живот, – боюсь, не понравится.

Хозяин, улыбаясь тонко, снял с голого потного плеча Елены большую живую стрекозу и подбросил вверх. Стрекоза зашуршала слюдяными крыльями и шарахнулась к свету, к висячей лампе, медленно, как маятник, качавшейся над столом.

– Он говорит, – приблизила к ней щеку Прасковья, – что на мосту Искусств, это около Лувра, просто найти, каждую ночь устраиваются танцы. И танцуют до утра. Он говорит, что ты танцуешь божественно! Он говорит – тебе надо обязательно пойти туда.

* * *

И она пошла.

Она одевалась целый час. Она давно так не волновалась. Она перебрала все платья, что привезла с собой из Нижнего, и уже покусилась на Прасковьины, открыла ее шкаф, копошилась в ситцах, в шелках, в сатинах, в бархатах. Тьфу на бархат, это пошло! А ты разве не пошлячка,

уколола она себя едко, ты, писака пошленькой бульварщины, уж кто бы рассуждал о пошлости, да только не ты! «Я хочу счастья. Я хочу отдохнуть», – ледяно сказали ей из зеркала холодные, сиренево-розовые губы. Когда-то пухлые, ягодно-вкусные, они теперь сделались тонкими, сухими... как брюшко той стрекозы, подумала она.

Ага, вот это, да, пойдет. Ситец, он такой легкий. Ситец, он всегда в моде. В Париже в этом сезоне все просто помешались на ситце, шептала она себе, ну вот, и я тоже помешалась. Она подвела глаза густыми голубыми тенями, так она красилась тогда, давно, в Хабаровске, когда собиралась на ночную охоту в ресторан.

Где вылезти из метро, она знала. Париж она изучила за эти годы уже очень хорошо; он был ей роднее, чем Нижний, потому что здесь жила ее семья. А в Нижнем она была одна. И вернется – снова будет одна. Опять одна.

А может... на этом чертовом мосту... где танцуют...

Хочешь сказать, подцепишь француженка, и выскочишь замуж? А там что, такие же старички пляшут, как и ты? Твоего почтенного возраста?

Я не старуха. Блядь, я не старуха!

Ты и в старухах все будешь блядью, дорогая моя. Так что не рыпайся. Не пропусти свою станцию.

Елена вылезла из-под земли наружу, украдкой разгладила ладонями ситцевую юбку на животе, ощупывая ребра: да, есть еще талия, и недурная, – процокала, сквозь вечерний лиловый сумрак, на каблучках легких босоножек ближе, еще ближе к мосту Искусств – и замерла, замерла от потрясения.

Такой Париж она видела впервые.

Огни снизу светили на яркие юбки. На голые, в резком повороте, гладкие белые бедра под взметнувшимся цветастым шелковым вихрем. На смеющиеся лица. На потные щеки; а может, они блестели от радостных слез? Свечи. Дачные фонари. Белые, как вареный рыбий глаз, софиты. Китайские фонарики, красные, как кораллы из восточной сказки. Боже, тут были даже керосиновые лампы! А еще – живой огонь. Факелы! Настоящие факелы! Смола чадила, космы огня летели, мотались по ветру, древки были крепко всажены в чугунную лепку перил. «Они же обожгутся... подожгутся!..» – подумала она про танцующих, но те и не думали останавливаться. Это было вечное движение. Волчок был запущен. Юла крутилась и жужжала. Танец ввергал в свой вихрь и больше не выпускал людей, и люди, несясь в разноцветной метели музыки, юбок, рукавов, хохота, искр глаз, искр сережек в ушах, света свеч и фонарей на мосту, под ногами, над головами, показались Елене безумной океанской самоцветной воронкой, то синей, то алой, то слепяще-золотой, – и что, она должна в эту воронку нырнуть?!

– Да никогда! – затравленно, заполошно крикнула она, но ее, в горячей вьюге музыки, никто не услышал.

Люди танцевали, а певец пел. Он пел не по-французски – по-испански, Елена догадалась. Она не знала языка и не понимала слов, но и без слов все было понятно. Любовь, опять она, опять она!

Ее кто-то тронул за локоть.

– Мадам, – перед ней стоял кругленький, крепенький, как гриб боровик, французик, намного ниже ее ростом, ну вот точно по пуп ей, карапузик, колобок, и протягивал к ней круглые, ухватом, ручки, галантно приглашая ее к танцу.

– Мать твою за ногу, – вежливо улыбаясь, изругалась по-русски Елена. Вот с этим футбольным мячом она пойдет танцевать?! Никого на тебя, бабушка, что ли, получше не нашлось, кроме этого толстого дедушки?!

– Мадам, силь ву плэ... сэ вотр данс...

– Говоришь, мой танец, – пожала плечами Елена и презрительно кинула руку на круглое плечико французика, – ну, давай, брат, да только бы мне тебя ненароком не раздавить, козявку!

Она уже смеялась. Она уже танцевала с этим толстым дядькой, поземка музыки обвилась вокруг их ног, ветер музыки понес их, как два листа, и Елена поразилась – как прекрасно, упоенно вальсировал этот коротышка, как он вел ее, уверенно, сильно, красиво!

– Ого, – сказала Елена, лояя ртом воздух, – да ты Наполеон, братец...

«Как хорошо, когда они не знают твоего языка. Можно болтать все, что вздумается».

– Napoleon?! – радостно взвизгнул толстый поросенок, вдавливая пальцы-сардельки в ребра Елены. – О, Napoleon! C'est tres bien, Napoleon! C'est ma France! О, madam... vous...

Толстячок задыхался, они танцевали уже третий танец. Первый был вальс, Елена точно это помнила, на три четверти. А два других она не знала; гриб боровик вел ее, и она просто подчинялась ему. Он что-то бормотал ей, музыка заглушала его слова. Она изумленно поняла, что в таком восторге от танца с ним, что, помани он ее пальцем, она бы без раздумий пошла с ним.

«Матушка, ты просто сбрендил. С таким-то мужчинкой?!»

«А может, он богат. Может, миллионер. И – парижанин, мать, парижанин. Черта ли ты торчишь одна в этом своем Нижнем?! Не теряйся... выбирай... здесь все твои будут... вот увидишь, все будут твои...»

Не успела она очухаться от танцев с круглым колобком, заправить за уши растрепанные мокрые кудряшки, поправить сбитую набок юбку и украдкой – бретельки лифчика, как ее тут же пригласили снова. На этот раз кавалер был помоложе и постройнее. Высокий, даже чуть выше ее. Долговязый, худерьба. «Ну вот, то толстый, то тощий, – закусила она губу от смеха, – везет же мне...»

Новый партнер оказался еще умелее, чем толстяк. Елена танцевала в восхищении. Музыка гремела, музыка ныла и томилась, и пары без устали двигали ногами, откидывали головы в резких па танго, мелко, по-муравьиному перебирали ногами в ласковой, быстрой и нежной сальсе, и Елена, стреляя глазами по сторонам, тут же все схватывала, тут же повторяла, и стучали, стучали каблучки босоножек по гладким кабошонам старой мостовой. Она вскинула голову. Высоко над ней сияла-сверкала в густо-алой, коричнево-розовой тьме длинная, как великанская дубинка, страшная башня, и железные перекрытия светились скелетными чудовищными ребрами, подсвеченные десятками мощных софитов. Стальной мертвый скелет сторожил Париж, а люди жили внизу, люди копошились, да, люди жили, умирали, опять рождались и снова танцевали – здесь, на мосту Искусств. «Бог ты мой, да ведь это же Эйфелева башня. Старушка, я не узнала тебя нынче ночью! Я совсем полоумная от этого пьяного танго». Елена выпяченной нижней губой отдула кудрявую прядь со щеки.

Ее приглашали и приглашали, мужчины наперебой рвали ее друг у друга из рук, и она, еле успев передохнуть, наглотаться сырого речного воздуха, наклонившись над перилами моста над черной, со вспышками огненных взлизов, быстро бегущей Сенной, снова протягивала руку тем, кто опять тащил ее в танец, соглашаясь, принимая, кивая: да, я ваша! Да, я с вами! Я танцую сегодня! Здесь, в Париже, на мосту! Сегодня ночь – моя!

И все и правда видели, что сегодня ночь – ее.

А может, ей это только казалось, и пары крутились и вертелись, совсем не обращая на нее вниманья, и музыка заглушала все сбивчивые речи, и молчанье в танце говорило больше, чем все слова, а музыка и так говорила все за людей, – кричала, умоляла, признавалась, бросалась на грудь. И – бросала. И – убивала. И – снова любила, снова, снова.

И Елена с ужасом почувствовала, как она перестает в танце быть собой. Елены Афанасьевой, по паспорту Елены Кружки, больше не было. Была только любовь.

Она стала любовью. Любовь вскидывала руки на плечи мужчинам. Любовь подавалась навстречу мужским глазам и рукам. Любовь обвивала ногами мужские ноги. Любовь стонала и выгибалась, и любовь вспыхивала и гасла, и опять возгоралась, потому что любовь не может исчезнуть навек. Елена умирала, а любовь нарождалась. Любовь глядела сверху на колышу-

щийся от множества танцующих пар ночной мост, и любовь видела, что мост, как кудрявая голова под теплым ветром, весь шевелится, копошится, дрожит, – муравейник любви, пчельник любви, и, пока горят факелы, и пылает музыка, и течет ночь, и течет Сена...

– Что? – Чужие руки обнимали ее, а она опять говорила по-русски. Она не могла по-французски, она боялась. – Что?.. Где я?..

Танцевавший с ней мужчина молчал. Все лица мужчин для нее в эту ночь слились в одно лицо. Лицо это моталось над ней, лицо дышало в нее тысячью запахов, лицо улыбалось тысячью улыбок; но она не глядела в это лицо, потому что главным был танец, и она боялась ошибиться, боялась споткнуться, боялась сделать не то па, выкинуть не то коленце, ведь она была сейчас музыкой и любовью, – а кудрявая женщина, которую все приглашали и приглашали на танец, танцевала отдельно от нее. Но мужчина был настойчив, мужчина что-то ласковое говорил и все сильнее прижимал Елену к себе, и в это лицо она взглянула.

Раскосая, густая синева. Глаза воткнулись в нее, как два камаргских ножа.

– Эскюзе муа, – выдохнула Елена. Руки мужчины держали ее крепко. Не вырваться. – Я наступила вам... на ногу...

«Черт, здесь нет Пашки, она бы перевела...»

Мужчина смолчал. Не ответил ей. А что бы он ответил ей, иностранке? Мало ли из каких стран приезжают в Париж люди. Да со всего света! Мало ли кто приходит по воскресеньям потанцевать здесь, на мосту Искусств! Вот и она пришла. А ночь-то не кончается! Боже, как он прекрасно танцует! Лучше всех этой ночью. Спросить, что ли, как его зовут?.. Черт, а как это по-французски?..

«А вотр сантэ, а вотр сантэ», – лезло ей в голову ни к селу ни к городу. «Да, винца бы сейчас... ледяного... красенького...» Она облизнула пересохшие губы, и раскосый синеглазый мужчина понял ее жажду. Елена ахнуть не успела, как он наклонился и прижался влажными губами к ее губам.

И ее сотрясла дрожь желанья, ни разу не испытанного в жизни.

Не звериного, не помрачающего ум, нет. Тело потянулось к чужому телу, да; но странным, не пережитым ранее был свет, непонятный свет, что будто разгорался внутри нее, под ходуном ходящими от усталости ребрами. Свет набирал силу, крепчал. Свет уже заливал ее изнутри – и уже выходил из-под ребер наружу, и Елена со страхом увидела, как изошедший из нее странный свет заливает лицо мужчины, ночного танцора, сжимающего ее в объятьях. Свет ударил снизу и вверх, в лица им обоим, и сначала Елена дико подумала: факел! – а потом поняла: это так светится ее лицо, а лицо изнутри подсвечивает ее сердце, а сердце, что бьется-колышется, как у загнанного зайца, в последнем в эту ночь танце, подсвечивает изнутри любовь.

И она сама потянулась губами к этим губам, жестким и мягким, как мясо парижских устриц, горячим, влажным и колючим, за ночь великого танца отросла его синяя щетина, к губам, вобравшим ее губы, как жерло вулкана вбирает пылающей лавой заблудшее облачко, к этому чужому языку, внезапно ставшему родным, как ручная рыбка, как ласковая змейка, что раньше сажали, играя, царицы себе на грудь; и то, что затвердело у него снизу, чуть повыше бешено бьющихся бедер, у нее, отразившись в темном зеркале ее живота, стало тающим и текучим, горяче-восковым, мокро-соленным, – да, она плакала изнутри, и там, внизу ее живота, не было ее всегдашней хищной, тигриной жажды взять, урвать, поглотить, обладать, – а лились светлые слезы, да, там тоже был свет, он лился снизу вверх, он тек внутри нее солнечной, лунной рекой.

Свет из живота. Свет из сердца. Свет от лица.

Мужчина еще крепче прижал к себе ее, ставшую светом.

– Je t'aime, – ожег он языком факела ее ухо. – Mon lumiere... tu...

Пары кружились вокруг них на мосту, а они стояли и целовались.

И водоворот танцующих обтекал их, неподвижных.

И Эйфелева башня, вся в мелких точках жемчужных огней, луврской фрейлиной-старухой сторожила их поцелуй.

Он что-то сказал ей, она не поняла.

– Я устала, – выдохнула она счастливо, задыхаясь.

Так, как она сейчас, раздувая бока, дышал после скачки ее белый ахалтекинский жеребец, на котором она прошлой весной скакала в Камарге.

Он снова притянул Елену к себе. Снова вспышка этого победного, золотого света.

– Господи, – пробормотала она, оторвавшись от его губ, – Господи, Господи... – И добавила по-французски, чтоб ему было понятно: – Mon Dieu...

Он схватил ее за руку и без слов потащил за собой. Она, перебирая утомленными ногами, послушно повлеклась за ним, за его широким шагом, почти побежала. Вниз, все вниз и вниз, по каменным, древним ступеням. Елена споткнулась. Охнула, подвернула ногу. Держась за его руку, присела, сдернула босоножку с ноги. Жалобно показала ему.

– Каблук! – крикнула она по-русски и повторила зачем-то, будто бы он мог понять: – Каблук! Каблук!

Она так танцевала сегодня, что сломала каблук. А ведь хорошие были босоножки, крепкие, от «Andre».

Он взял ее негодную босоножку и швырнул в реку. Она сняла другую и тоже бросила в Сену. Обе босоножки поплыли по черной воде, в золотых масляных бликах фонарей и факелов, как детские кораблики.

Она шла за мужчиной все дальше, вниз по ступеням, в черную тень нависшего над ними моста. Она чувствовала себя древней и юной. Она была этими старыми камнями. Этой лодкой, баркой у парапета, увитого диким виноградом. Этими быками моста, сырыми, влажными, в длинных волосах диких и пряных, пьяно-йодистых водорослей. Этим рваным журналом «Paris Match», забытым на каменной ступе близ воды. Этой черной, цветной, самоцветной, дрожащей, как шкура черного волка, густой, как черное масло, ртутно-подвижной водой. Этой рекой, что века текла куда-то к северному, к серебряному холодному морю. Этой чужою рукой, такой теплой, родной. Этим смоляным факелом на мосту. Этой музыкой... музыкой...

Они уже были под мостом. Музыка все звучала, вверху, высоко над ними. Банджо звенело и безумствовало. Нежно пел бандонеон.

Мужчина сел на камни и потянул Елену за руку, вниз.

И она, слепо подогнув старые, уже по ночам ноющие колени, послушно, как девочка, села рядом с ним.

Губы раздвигают ее губы. Пальцы нежно стягивают ненужную, дрянную одежду, и тряпки скидываются сами, шелестят, как сухие мертвые листья, опадают, обнажая жизнь. Пальцы тихо ложатся на губы: молчи!.. – и продолжают молиться ей дальше, молиться жизни и любви. Вот обнажен и он, и там, внизу его живота, тот крепкий, горячий, перевитый вздувшимися темными жилами стержень, его она тысячу раз умело ощупывала в чужих постылых постелях. Прикоснуться рукой. Нет! Нельзя. Ожог. Почему?! Потому что это... святое... И что, теперь из-за того, что это святое, ты не раздвинешь перед ним свои стройные, как у девчонки, сухопарые, старые ноги?! Раздвину. Уже – раздвигаю.

Они оба лежали, голые, на своей скинутой одежде, на камнях под мостом. Мост закрыл их от огней и от музыки каменной ладонью. Мужчина бережно, тихо просунул обе руки Елене под лопатки и слегка приподнял ее над холодным гранитом. Потом заскользил руками ей под круглый, еще крепкий зад. Вклеил растопленный сургуч всех десяти пальцев в ее жадно приподнятые ягодицы. Она, в угоду ему, держала себя, как хрустальный графин с драгоценным

вином, на весу. Она стала речной раковиной, и створки раскрылись. Тихо, медленно в открытые ворота вошла любовь; и медленно, тихо стала танцевать. Танцевать в ней.

Раз-два-три. Раз-два-три. Это вальс?! Да, это вальс. Это я танцую с тобой вальс, любимая моя. Я так долго ждал тебя! Я так долго тебя ждала! Раз-два-три, раз... Видишь? Видишь, как все просто? Не надо ничего выдумывать. Я танцую с тобой под мостом. Ты у меня в руках. Я у тебя в руках. Давай станцуем танго. Но это же на четыре четверти! Да, на четыре. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три...

Его живот медленно, мерно подымался и опускался над ее мягким, теплым животом, и жизнь вбивалась в нее, пустую и ледяную, жизнь входила в нее, смеясь и танцуя, жизнь втекала в нее соленой, дымящейся спермой, сладким молоком, первым криком ребенка, черной, маслено-самоцветной чужою рекой, черной, как траурный креп, как черный креп, им затягивают зеркала в доме, где смиренно, как дитя в колыбели, лежит покойник в гробу, входила – и выходила, и замирала над ней, и шептала: нет, я еще не прощусь с тобой! Я еще войду в тебя. Вот так... так... Я еще побуду в тебе. Я еще буду с тобой. Я обниму тебя... Я вольюсь в тебя! Я не кончусь, нет... да, еще!.. еще!.. еще...

– Не торопись, – шепнула мужчине Елена. – Слышишь... не торопись... не...

Она хотела сказать ему: «Не кончай еще, побудь еще со мной», – но смерть взяла свое, и оборвалась музыки нить, и он, прощаясь с ночной любовью своей, выгнулся над ней коромыслом, железно, в короткой судороге изогнул спину, вывернул в бешеном па плечи, дернулся всеми сведенными мышцами, торсом, повел ногами, будто вел свою любовь в последнем танцевальном круге, – и опал весь, упал на нее, распятую на камнях, всем долгим поджарым смуглым телом, придавил ее тяжестью мышц и костей, уткнул лицо ей в шею, под мокрые кудри. Застыл.

Елена лежала под ним, мертвым от любви, плакала и смеялась беззвучно.

Прямо в глаза ей светил крошечный фонарь с перил моста.

А может, это была свеча в руке девочки, пришедшей сюда потанцевать, а ее никто не пригласил.

А может, это была тусклая парижская, в дымке лютого смога, звезда.

* * *

Елена пришла домой босиком, рано утром. Так, босая, она и топала по Елисейским Полям, и ее остановил ранний утренний полицейский, и что-то клекотал, как гусь, вытягивая из воротника длинную шею, долго и возмущенно, а потом рассмеялся и махнул рукой: иди, мол, подгулявшая ночная бабенка! «Принял меня за проститутку», – догадалась Елена. «Спасибо, друг, что в каталажку не поволок!» – обернувшись, крикнула ему по-русски Елена и сделала ручкой. Ажан сделал круглые глаза, а потом быстро, испуганно повернулся к Елене обтянутым в серо-голубые казенные штаны, куцым задом.

Прасковья отворила матери дверь и с порога весело вскричала: «Ну как ты?!» Осеклась, взглянув на босые, в грязи и пыли, Еленины ноги. Мать, откуда брела-то ты, пробормотала дочь, и голос у нее замер, она подумала, может, не надо спрашивать-то ничего. Может, еще хорошо, что жива осталась. «Ниоткуда, – сначала медленно сказала Елена, вслушиваясь в странный, чужой звук своего голоса, а потом добавила: – Дай мне поесть. Вина и сыра».

И дочь резала сыр и разливала по бокалам розовое кислое ронское вино, с виноградников Роны, во Вьенне и в Кондрие у Жюля жила родня, он был отнюдь не потомственный парижанин, корни их рода уходили в землю Дофинэ и Прованса. И Елена ела. Она откусывала синий козий сыр – и не чувяла запаха сыра. Она отхлебывала ронское озорное винцо – холодное, ну ведь она ночью так хотела вина ледяного! – и не чувствовала вкуса.

Она помнила только вкус его губ.

Она вдыхала запах его рук. Его щек. Его крепкой смуглой шеи. Его полынного пота. Его запах. Запах.

Елена отшвырнула по столу от себя тарелку с синим сыром. Вскочила. В столовой было много места, было где разгуляться. Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три... раз...

– Мама, что с тобой? – спросила Прасковья. – Ты спятила?

Елена танцевала в гостиной, закинув кудрявую голову. Она давно не красилась, и в золотых парчовых завитках нищей холщовой нитью искрила седина.

Раз-два-три-четыре... раз...

Прасковья вытащила из кармана халатика мятные сигареты. Закурила. Пощупала вздувшийся сугробом живот.

– Мать, так понравились танцы?

Елена, посреди гостиной Жюля, зятя своего, в квартире на Елисейских Полях, танцевала, одна, босиком, на скользком, вчера навощенном паркете, пачкая его, роскошный, грязными ступнями, аргентинское танго.

Она пошла туда, на Pont des Arts, еще и еще раз.

Она, пока была в Париже, каждое воскресенье ходила на Pont des Arts, искала глазами его в танцующей веселой толпе, и ее опять приглашали, и она танцевала с мужчинами, со стариками и с юнцами, с низенькими и с высокими, с толстыми и с тонкими, – да ей наплевать было, с кем она танцует, лишь бы танцевать, ведь он придет, он сразу увидит ее, он сам вырвет ее из рук других мужчин ее, он... уведет ее...

Музыка гремела. Музыка затихала. Музыка гладила ее по голому локтю и целовала в висок.

Он больше не пришел.

Я продлю визу в посольстве еще на месяц, заявила Елена дочери. Прасковья передвинула языком мятную сигарету из одного угла губ в другой. «Что случилось, маман? В России мусульманский переворот? В Нижнем прорвало городецкие шлюзы?...» Елена тряхнула овечьей-кудрявой головой. «Я буду брать уроки танго у мадам Мартэн!»

Мадам Мартэн, поползли брови вверх у Прасковьи, но ведь это же самая дорогая, дорожающая училка танцев в Париже! Один ее урок, мать, знаешь сколько стоит?! Прасковья орала, Елена ухмылялась. «Ты будешь считать деньги, курица, в моем кошельке! Еще чего! Напрасно! Я и сама смогу это сделать! А ты будешь со мной ходить на уроки! Все равно тебе, брюхатой, делать нечего!»

Мадам Мартэн оказалась крошечной, как болонка, и прыгучей, как блоха, сухенькой старушонкой, и бормотала быстро и неразборчиво, Прасковья еле успевала переводить. У меня в студии не курят, вскинула вальдшнепью головку мадам Мартэн, и Прасковья мрачно затушила сигарету о холодное железо балетного станка. Елена нарядилась в черное трико, подражая балеринам. Она наблюдала себя и мадам в высоких, до потолка, зеркалах. Она осталась собой довольна. «Фигурка еще будь здоров, и ножки как у саранчи. Я перейму эту науку!» Она глядела мадам в рот. Она повторяла па танго, что показывала ей седая болонка, так старательно, что пот падал крупными виноградинами на паркет студии с ее висков, из-под крашенных кудрей.

Один урок у мадам Мартэн и впрямь стоил дорого. Елена заплатила старушенции за десять уроков вперед. Мадам таяла перед Еленой, как безе во рту. Елена выучивала па аргентинского танго: вот это болео, а вот это очос, мах ногой на бедро партнера, мах ногой назад, а вот это, как это называется, черт, забыла, резкое движение головой туда-сюда, будто бы ты

озираешься по сторонам, кто заметил тебя, твою преступную любовь, твою постыдную страсть, твою...

Мадам вела Елену по гладкому паркету студии, как заправский мужчина-партнер, Елена переставала видеть рядом с собой прокопченную на огне вечного танца тощую старушку, а видела мужчину, и любила его, и танцевала с ним единственный, последний танец. Мадам несколько не задыхалась, танцуя. Мадам кричала: «Дышите! Не забывайте дышать! В танго главное – дышать! Иначе вы утонете!» Она говорила о танго, как о море. Об океане. Она ворковала голубкой: «А вы знаете историю аргентинского танго, деточка?.. О-о-о-о, вы не знаете!.. Ну конечно, откуда... в вашей снежной России... где по улицам, миль пардон, ходят медведи... Танго – это танец простонародья. Это танец тех, кто бороздил Атлантику взад-вперед, в поисках работы, из Аргентины в Париж, из Гавра в Бразилию, из Мексики в Лондон и обратно... в трюмах, во вшивых третьих и четвертых классах богатых, блестящих, золотых лайнеров!.. И они танцевали танго там, в душных табачных трюмах. И мужики лапали баб, миль пардон, и за зады, и за груди... этот танец в утонченной Европе был – нонсенс!.. хулиганский!.. непотребный!.. Он был, душечка, запрещен!.. И музыка, его музыка была запрещена, она вызывала рвоту, она отталкивала, потому что эта музыка была – голая, наглая, неприкрытая страсть... только страсть, и больше ничего!.. А простому народу не надо ведь притворяться. Люди навешали на себя побрякушек... а под мишурой они – голые!.. бесстыдные!.. мужчина и женщина!.. Голые, да, дикие, мокрые, потные... как в Раю... И они сплетались в танго, как в страсти! И стонали в углах трюмов, набитых мешками с табаком, с бананами, с зернами кофе! И, милочка, танец становился любовью, а любовь – танцем. Вот что такое танго! Извольте кушать! Если вы начали танцевать танго – вы не остановитесь уже!»

Прасковья старательно переводила. В крошево нервно мяла пальцами в кармане мятную сигарету. Елена видела, как ее внук толкается у дочери в животе.

Она танцевала в студии у мадам Мартэн. Она танцевала дома: в спальне, в гостиной, на кухне, когда готовила обед и ужин, на лестничной площадке, когда ждала старинный медленный, как кляча, лифт. Она танцевала в парке Монсо, в Люксембургском саду, куда ходила с внучками гулять, – прямо у коляски, и малютка Мари-Жанн тарасила из коляски на танцующую grandmaman прозрачные рыбки глазенки, а малютка Софи, сидя на лавке, кричала по-русски: «Бабуська! Давай!.. Бабуська! Давай!..» Елене было плевать на прохожих. В ней начинала звучать музыка, и она не могла противиться ей. Она разучивала новые па. Она отработывала те, что уже узнала. Ей аплодировали у фонтана в Тюильри: «Браво, мадам!.. Манифик!..» Пусть думают, что я сумасшедшая. Что я – старая русская выжившая из ума балерина из Сент-Женевьев-де-Буа. Голуби взвивались у нее из-под ног серыми, сизыми, вверх подоброщенными розами, крылатым букетом.

Ближе к весне Елена улетела в Нижний.

Что она делала в Нижнем, как жила, она не запомнила.

Наползали грозовые тучи. Гремело и пылало пьяное французское лето.

В июне Прасковья родила мальчика, и его назвали Мишель, в честь отца Жюля. «Я прилечу и помогу тебе с ребенком», – заботливо сказала дочери в трубку Елена, и это прозвучало как: я устала от твоих котят, киска, но это мой долг, помочь. «Спасибо, маман, но может, я сама?» – вежливо спросила Прасковья, и это слышалось так: живи своей жизнью, мама, у меня-то своя.

Красными каштанами загорался и гас сентябрь.

В октябре маленького Мишеля окрестили по католическому обряду. «Вот мои внуки и французы, по-русски-то уж никогда балакать не будут», – морщила губы Елена, принимая поздравленья друзей на крестинах.

Когда гости уже порядком упились и красным, и белым вином, и коньяками из лучших парижских магазинов, и объелись жареным мясом, и жареной рыбой, и копчеными мидиями, и свежими персиками, и мороженым, и шоколадом, и среди зажженных на столе свечей лениво играли в карты, Елена ушла в свою спальню, поставила выбранный наудачу диск с музыкой, это оказался Пьяццолла, ну пусть будет Пьяццолла, все равно. Она закинула голову. Закрывает глаза. Руки нащупали лишь пустой воздух. Ноги сами уже танцевали. Это было необоримо. Обжигающая слепая волна поднялась снизу, от пяток, прошла дикой молнией через хребет, хлеще арманьяка замутила хмельную голову.

Болео. Очос. Мах ногой...

Пустота под ногами. Пустота под руками. Пустота внизу живота. Пустота.

В ночное окно тысячью глаз глядел Париж. Он подсматривал. Он тысячью фонарных зубов хохотал над ней.

Над седой, пьяной танцовкой. Над сибирской шалавой.

Над сумасшедшей старухой, бульварной романисткой, что влюбилась в Париже без памяти на старости лет.

* * *

Самолет компании «Люфтганза» прямым рейсом из Парижа доставил Елену в Нижний Новгород. Пока летела, она то и дело заказывала у стюардессы выпить: «Коньяк, пожалуйста!» Стюардесса, слащаво-заученно улыбаясь, прикатывала тележку с едой и питьем, и Елена безошибочно вырывала бокал с темно-коричневым коньяком из батареи бокалов с красным вином и желтым апельсиновым соком. Опускала нос в бокал. Правильно, пахнет клопами. А может, и правда на клопах? Хохотала, пила. На рейсах «Люфтганзы» всегда хорошо кормили. Она любила летать, когда она взмывала в самолете в воздух, понимала, что уже втянуты лапки-шасси и железный гусь режет ледяные небесные просторы хищным клювом, у нее замирало сердце, и она гордилась человеком, что выдумал такую быструю машину, гордилась собой.

Она пила коньяк и не пьянела. Пила и не пьянела.

Сосед по креслу, закрываясь вчерашней парижской газетой, опасливо поглядывал на красивую гордую мадам, что хлещет коньяк, как клошар лакает краденый абсент из горла в подворотне.

Париж там, за хвостом самолета. Вот опять Нижний, и вот аэропорт Стригино, и вот родная грязь, родной мат в автобусах и в трамваях, родные нужники в старых дворах. Россия. А может, Прасковья права, и ей надо перебираться в Париж насовсем?

Но, когда Елена катила в такси по набережной Волги, и слепящая синева родного простора опажнула лицо, дурацкие, чесночно-едкие слезы застлали ей глаза. «Старая и сентиментальная», – одернула она себя. Раньше она плакала не так часто. Она поглядела на счетчик, и слезы высохли мгновенно. Шофер обманывал модную богатую дамочку внаглую. Да что там, и в Париже таксисты обманывают. И в Нью-Йорке. И везде.

Она медленно поднялась в лифте на свой этаж. Открыла дверь. Пустотой, пылью и холодом пахло на нее из комнат. Она шла по комнатам и видела себя в полный рост в зеркалах. «Как в танцзале у мадам Мартэн», – подумала тоскливо. Хотелось выпить. Распахнула холодильник. Она забыла его выключить. В морозильнике за два месяца выросла толстая ледяная шуба. Выпить не было. В магазин бежать? С дороги-то? Она зло захлопнула дверцу. Сердце билось коротко и гулко, зло, коротко и гулко: раз-два. Раз-два. Раз-два. Раз.

Одна. Опять одна. Всегда одна.

Красное, горькое шевельнулось внизу. Там, внизу. Под ребрами. Разрослось в один миг. Подкатилось вверх, наверх мохнатым, кровавым, черным шаром. Заполонило все в ней. Залило всю пустоту, дошло до края. И – вылилось через край.

И – красным, тугим огненным молотом тяпнуло в лоб. Под глаза. Под тяжелый свод черепа. Еще покрытый, еще поросший, костяной холм, дерзкими, крутыми, не ври, уже поределыми, жидкими, сивыми, наполовину седыми кудрями.

Руки и ноги превратились в сплошную дрожь. Красная тьма повисла перед зрачками. Елена сама не понимала, что с ней. Шаг, еще шаг, нетвердый, злой, шаткий, к шкафу, доверху набитому книгами. Ее книгами. Книгами?!

Она рванула на себя стеклянную дверцу. Запустила, как зверь лапу, руку в книжные пыльные ряды. Вывернула наружу тяжелые, лаковые, поросячье-яркие, картонные кирпичи. С листочками внутри. С бумажными листочками. Исписанными, изгаженными, измаранными – ею. Ею самой. Ею одной.

Буквочки, грязные черные буквочки. Нацарапанные куриной лапой. Втиснутые в снег зверьими когтями. Выметанные – алой, как кровь, рыбьей икрой – на Амуре, на широком ветру, в кетовый нерест...

– А-а-а-а! Будьте вы прокляты-ы-ы-ы!

Руки выворачивали из шкафа, разбрасывали книги по комнате. Ноги пинали. Рот брызгал слюной в бешеном, длинном крике. Летели, разлетались, грохались об стены книжки, романы, романишки, романчики, мелькали, как игральные карты, названья – «Убийство ради убийства» и «В объятьях призрака», «Кровавая вендетта» и «Роковая дама бубен», «Шпага и кинжал» и «Роза гарема», «Смерть в театральной ложе» и «Марокканская блудница», летели капли клюквенной крови, и брызгало чернильное вино, и звучали картонные поцелуи, и скакали бумажные кони, и Елена швыряла об пол, как луковицы или помидоры, свои несчастные, ни в чем не виноватые книжки, топтала их, рвала, оскалившись, рычала, орала, ревела коровой!

– Ненавижу-у-у-у! Ненавижу-у-у-у! Все дря-а-а-ань! Все дря-а-а-ань!

«Господи, что я делаю. Господи, сейчас соседи придут... Мне надо... «скорую»... скорей...»

Я одна. Сто книг! А я – одна.

И он, он там... в Париже... мое счастье... моя мгновенная молодость...

Молодой. А она – одна. И она – старуха. Он во внуки ей годится. Ему ж лет двадцать, не больше!

– А-а-а-а-а! Одна-а-а-а! Одна-а-а-а...

Растерзав весь книжный шкаф, ужаснувшись содеянному, Елена села среди раскиданных книг на пол и закрыла ладонями лицо.

Подняла голову. Оторвала ладони от лица.

Из темной воды громадного зеркала напротив на нее смотрела бешеными, пустыми, белыми глазами старая седая баба, с лицом в красных пятнах, с безумно, криво перекошенным, ненавидящим ртом, со швами от пластических операций под скулами и на лбу.

И раздался телефонный звонок.

И пустыми, неслучными ногами Елена подбрела к телефону, и трубку взяла, и к уху поднесла.

– Госпожа Афанасьева?... – щебетнули в трубке сладко, вкрадчиво, издалека. – Это вам из издательства!.. Вы уже вернулись из Парижа?... Да-да-да... мы ждем ваш новый роман... да-да-да... гонорар вам на книжку?... или сами приедете?... Приезжайте, дорогая, мы вас всегда так ждем!.. Вы – наше чудо... алмаз из провинции... самородок!..

– Плохо слышно, – хрипло сказала Елена вспухшими от слез губами и повесила трубку.

* * *

Она взяла в аренду заброшенное помещение на старой улице старого города, дала объявление в газеты и журналы. «СТУДИЯ «МАГИЯ ТАНГО» ЖДЕТ ВАС». Худеть, надо похудеть, надо срочно похудеть, как можно быстрее, ведь он такой молодой, такой поджарый, а она такая толстая. Танцы, танцы и гимнастика, танцы и диета, танцы и ничего не жрать, тубо, merde! В студию потянулись люди, все почему-то немедленно захотели танцевать танго, и стар и млад, народ сначала, стесняясь, жался к стенам, молчаливо сидел на лавках вдоль зеркал, а потом осмелел народ, уже вертелся и крутился, уже парочки жадно, любопытно обглядывали свои отражения в зеркалах, а кто-то глупый, или, может, поддатый взял и плюнул в зеркало, которое он принял за окно. Зеркала она заказала сама, в лучшем салоне дизайна. Дорого заплатила, но все уже было неважно. Аренда тоже была дорогая. За уроки Елена брала дешево. Она помнила расценки мадам Мартэн. Она понимала: это нищая Россия, здесь такое не пройдет, да и не в деньгах было дело.

Танго, танго тянет меня, а я тяну вас всех за собой в танго. Вы очаруетесь. Вы обезумеете. Вы сойдете с ума, как я. Сумасшествие заразительно. А вы знаете, что вся Европа сходит с ума от танго? Да, что-то такое читали, слышали. Да вся Россия тоже уже сходит. А я брала уроки танцев в Париже. Как, в самом Париже?!.. О-о-о-о-о... Ты слышал, Леня, у нас Елена Афанасьевна в Париже уроки брала! Не слабо... Я и говорю – не слабо. У мадам Мартэн! А что ж это, она, ну, копейки-то с нас?.. уж как следует драла бы... А как ты думаешь, Галя, сколько ей лет? Сколько мне лет? Ах, извините! Мы не хотели вас... Мне шестьдесят три. А-а-а-а-ах! Не ахайте. Дышите ровно. Хватайте воздух в легкие глубоко, как бегун, вы бежите длинную дистанцию, и вам надо добежать. Если вы не будете хорошо и глубоко дышать, вы утонете.

А вы правда были в Париже?

У меня там семья.

А что ж вы-то... здесь, а?..

Ничего. Мах ногой! Поворот бедром! Восьмерка! Назад!

Она перестала есть жареное мясо. Она перестала пить кофе с сахаром. Она отказалась от масла, сметаны, от ветчины и салами. Она то и дело вставала на напольные весы: отлично, еще пара килограмм долой! Желудок урчал. Я должна быть тонкой, очень тоненькой, шептала она себе, такой тоненькой, как девчонка, ведь он же у меня мальчишка, и я буду девчонка перед ним, я буду носить кофточки моей Пашки, школьные кофточки ее и школьные платица, – и морила себя голодом, и, вскакивая с кровати в пять утра, прыгала на велотренажер – и крутила педали, крутила, пока пот не начинал течь с нее градом. Она похудела дико, даже страшно, знакомые, увидев ее на улицах, не узнавали ее; одежда висела на ней, как на вешалке, она похудела на четыре, на пять размеров, обворачивала вокруг себя старую, еще столичным мэтром даренную века назад норковую шубу и выглядывала из нее перед зеркалом, как суслик из норы. Боже мой, Елена Афанасьевна, вы ли это!.. нет, это не вы... нет-нет, ваши остались только глаза... а как это вы смогли?.. Очень, говорите, просто?.. Танцы и диета?.. И все?.. Ах нет, не все. С вами что-то случилось! Что?.. что...

У Елены не было подруг, и некому было ей открыться, что она влюбилась в Париже в сопляка, с которым протанцевала всю ночь на мосту Искусств, а потом под мостом отдалась ему. Она сама себе признавалась в этом. Она сама себе была смешна. И ей самое себя было жалко до слез.

Она сама восторгалась собой, видя себя, исхудалую, тоненькую, как она и мечтала, в огромных своих, царских зеркалах. Она действительно уже свободно влезала в кофтенки и платишки пятнадцатилетней Прасковьи, и даже ее школьную форму пялила. Ах, что это за большеглазая школьница глядит на меня из зеркала! А, да это я сама. Ух, это разве я? Это

кудрявая Пашка, это ее детство, а не мое. А что – твое?! А твоего тут – ничего. Твои тут только зеркала.

В шкафу, вместо растоптанных книг, теперь стояли фотографии великих танцоров и диски с музыкой танго. В студию новички валили валом. «МАГИЯ ТАНГО» становилась знаменитой. И это была настоящая Еленина слава. Об ее бульварных книжонках никто, никогда и нигде не сбрехнул, не пропечатал ни слова, – а тут о Елене стали наперебой писать в газетах и журналах, стали ее хвалить и восторгаться ею: как, привезти в Нижний настоящее танго и научить ему всех желающих! Как это красиво! Как благородно! Как экзотично! Весь город гудел: танго, танго! Все – к Елене Кружке в студию! У нее брали интервью; ее показывали по телевизору, как она танцует, и камера в руках оператора нарочно долго останавливалась на ее обалденно стройных ногах, на поджаром, втянутом под ребра животе, на тонкой девчачьей шее, торчащей из выреза черного рабочего трико. Елена танцевала с разными партнерами, и с неумелыми и смешными, и с умелыми и техничными, но все равно во всех танцах она вела их, а не они – ее. Это она лепила их послушным кислым тестом. Это она пряла их нежной пушистой пряжей. Танго, кто и когда поведет за собой меня в танго? Ты. Там. В Париже. Но до тебя – еще год. Целая вечность. Или – полгода? Я не дотерплю.

Ты до всего дотерпишь. Жизнь за тебя дотерпит. А ты пока живи. Тут. Здесь и сейчас.

Урок танго – как глоток самолетного коньяка. Она бегала в свою студию четыре раза в неделю. Она ездила на танго-фестивали, принимала участие во всех известных и неизвестных милонгах в Москве, в Петербурге, в Смоленске и Самаре, в Новосибирске и Иркутске. Она летала по свету с факелом своего любимого танго в руках. Только вот до родного Хабаровска еще не долетела, – а так хотела! Подружки, наверное, стали старыми толстыми тетками, утками в немодных ботах, в толстых вязаных кофтах. Они пришли бы на ее милонгу и удивились бы: Ленка, ты ли это?! Нет, это не ты! «Это я», – сказала бы она им торжествующе. И они раскрыли бы рты, как галчата. И так бы стояли. Или сидели, все равно. Неужели это мы с тобой, старушка, когда-то снимали папиков в ресторанах?! Ну да, со мной. Время не вернешь! Не вернешь, это правда. Ну и что.

Ну... и... что...

У нее были разные ученики, разной комплекции и возраста; конечно, и молоденькие ребята тоже были, и заводские рабочие, и откормленные сынки богатеев, и смущенные, неуклюжие пэтэушники, однажды даже школьник заявился, выпускник: хочу танго со своей девчонкой на выпускном танцевать! Она беззастенчиво выбирала себе молоденького петушка, делала ему глазки, как бы бездумно облизывала, как детский леденец, свой палец, когда показывала ему движенья танго, поднимала перед зеркалом ногу выше головы, чтобы он видел, какая она гибкая, и в постели будет такая же, – мальчик не сводил с нее глаз, Елена после занятий манила его за собой, он шел как телок на веревочке, безропотно садился с ней в ее машину, и она везла его к себе домой, и оставляла его у себя на вечер, а если получалось, то и на ночь. Она спала с мальчиками, и она говорила себе: это для здоровья. И еще она говорила себе: мало ли что он там в Париже делает, а с мужиками надо всегда держать фигу в кармане. А еще она говорила себе: я же учу их, учу щенков любви, кто лучше научит, чем я! Магия танго, ха-ха!

А когда парень наутро исчезал, вставал раньше нее, одевался беззвучно, прокрадывался к двери и тихо отщелкивал замок, она, все это слыша чуткими, как у таежной рыси, ушами и все видя из-под дрожащих, и ночью накрашенных ресниц, переворачивалась на постели вниз лицом и дико, горько рыдала, царапая ногтями кружевную простынку, вцепляясь зубами в подушку, пачкая батист черной тушью.

Из столичного издательства звонили то и дело: у нас же договор!.. сроки подходят!.. вы должны!.. вы же подписали!.. сами, вас никто не насиловал!.. Елена криво усмехалась и неслышно плевала в трубку. А вслух говорила: ах, я сейчас так занята! Так занята, я так много работаю! Простите! Да, непредвиденно! Все в жизни непредвиденно! И, если я выберу время,

Это не ваше дело. Музыка! Заглуши!

Она бежала по Парижу, как оглашенная. Добежала до станции метро, и в метро, по тоннелям и коридорам, тоже бежала, и по платформе бежала, помня, что надо сесть в первый вагон, да, в первый. Поезд грохотал на стыках рельсов, и зубы ее стучали о зубы. Как бы язык не прикусить, а то пойдет кровь, как же он будет целовать твой кровавый рот?

Уже вечерело, и было воскресенье, как тогда, она все рассчитала. Вот он, мост; вот она, вечерняя река, серебристо-зеленая, палево-серая в синей густоте апрельских нежных сумерек. И огни горят. И музыка играет. Она ловила ртом воздух. Она задыхалась, будто уже оттанцевала десять танцев. И танго. И медленный фокстрот. И румбу. Живой музыки сегодня не было; она доносилась из черного железного ящика. Юбки танцующих женщин хлестали ее по ногам.

Ее пригласили тут же, с ходу, ее никто не узнал из завсегдатаев, ведь она была совсем другая, та была седая кудрявая дама, а эта – девочка, тощенькая, ребра пересчитать можно, с треугольным от голода, веселым личиком, с ярко-рыжими тряскими кудряшками, да, девочке надоело быть седой, и она выкрасилась в рыжий цвет, в цвет веселых дьяволиц, конечно, ее никто не узнал, а зачем ее узнавать? Эй, тоненькая девочка, как тебя зовут? Элен. Ты русская? Или ты парижанка? Неважно. Ты хорошо танцуешь, девчонка! Да. Я хорошо танцую. Я тут, у вас на мосту, сегодня танцую лучше всех.

Это был триумф. Ее приглашали наперебой. Сначала вокруг нее, танцующей с разными тангерос, образовался пустой круг, круг почтительного воздуха, вниманья. Потом все другие пары бросили танцевать, встали у перил моста – и смотрели только на нее, на Елену. Это танго закончено. Дай отдышаться. Я хочу опять танцевать с тобой! Нет, я выберу другого. Она сама выбирала себе в молчащей толпе тангеро, сама тянула его за руку в пустой круг света и свободы. Музыка замирала и снова взрывалась. Тонкая девочка танцевала с разными мужчинами в круге света. Китайские фонарики колыхались на рыбачьей леске на теплом ветру. Зеркало черной воды у быков моста покрывалось чешуей серебряной ряби. По расплавленному воску в плосках светильников плыли огни, как желтые кувшинки. Старые и молодые, бедно одетые и щеголи – неважно, кто, все шли за ней, к ней, как заколдованные, в кольцо ее тонких, исхудалых рук. Руки падали на мужские плечи. Руки притягивали к груди мужскую грудь. Музыка томила и томилась. Щеки пылали, об них можно было греть ладони, как о горячую печь. Пот, жар, мокрые пряди. Девчонка вспотела. Она вся взмокла, но все равно танцует! Ах, оторва. Ах, шалава. Слушай, но она же королева моста Искусств! Бери выше, она королева танго. Да, ты прав, старик, она королева танго. Спроси ее, где она живет! Спроси у нее телефон! Бесплезно, старик, кажется, эта девчонка иностранка. Думаю, что богатая иностранка, хоть и бедный ситчик на ней.

Она искала его глазами в толпе. Бесплезно. Я устала, сказала она последнему тангеро, рослому, с широким крестьянским лицом, бойкому парню. От парня отвратительно пахло дешевым парфюмом. Она вспомнила его запах, того, кого любила она, и закрыла глаза.

Его здесь нет, его здесь нет, слышишь, девочка, нет. Хватит танцевать, девочка! Ты утомишь свои ножки. Ты утомишь свое сердце. Нельзя танцевать вечно.

Она вышла из круга света. Спустилась под мост. Светила полная Луна, и под мостом ее обняла, прижала к себе прохлада. Сена текла, как всегда. Ничего не изменилось. И ничего не изменится. Только она превратилась в девочку навек. Сняла босоножки. Села на каменные ступени. Опустила голые ноги в холодную воду, и вода тут же стала горячей.

Ноги столько танцевали. Ноги столько обнимали. Ноги столько прошли.

Она так сидела, пока ноги не замерзли в воде. Потом с трудом напялила босоножки на мокрые ступни и поднялась снова наверх, на мост. Снова звучала музыка, уже другая. Пары танцевали. Пары забыли про нее, королеву, а прошло всего пять минут. Или десять лет? Двадцать? Сто?

Она сунула пальцы за пазуху и вытащила из-под лифчика маленькое круглое зеркальце. Заглянула в него. Раскосое лицо мелькнуло. Она обернулась быстрее молнии! Смешливый крошка-вьетнамец жадно разгрызал ее, как орех, узкими глазами. «Paris is a fantastic city», – сказал вьетнамчик соловьиным тенорком, он был по грудь ей ростом. «Yes, of course», – улыбнулась худая девочка тонкими губками. Размахнулась и бросила зеркальце в Сену.

Она все-таки вернулась домой. Прасковья изучающе глядела ей в лицо, рассматривала ее, как диковинный экспонат в музее. И Елена глядела дочери в чужие глаза. Чужая. Все чужое. Все неродное. Она француженка. Она уже трещит по-французски лучше Жюль. Чужая, и нельзя открыть душу. Нельзя сказать прямо. А что я скажу ей? Вот она раскрывает рот. Вот слышны слова. «Мама, может, ты все-таки подумаешь хорошенько? Может, тебе все-таки остаться в Париже? На черта тебе сдался Нижний! А танго ты и здесь можешь преподавать! Ты будешь вторая мадам Мартэн!» Молчанье. «Мама, ну нельзя же все время молчать! Скажи хоть что-нибудь! Мама, знаешь, брось эти вытребенки, хватит худеть, надо есть, а не издеваться над собой! Жрать надо! От тебя уже половина осталась! Ничего уже от тебя не осталось! Ты уже, pardon, как кошка драная! Садись за стол! Я приготовила твой любимый брюссельский пирог с сыром!»

Молчанье. Дочь пожимает плечами. Часы в гостиной бьют пять утра. «Мама, ну брось, слышишь, брось. Мама, ну выкинь все из головы! Мама, это все глупости... в твоём возрасте...»

Да. Ты права. В моем возрасте. Но ведь возраста нет. И времени нет. Я его упразднила. Я убила его. Можно, я приму ванну? Да, иди, конечно. Я возьму в ванную чашечку кофе и плейер? Да, конечно, возьми.

Елена вошла в ванную комнату и закрыла за собой дверь на задвижку. Жюль давно спит, и дети спят. Им всем уж скоро вставать. А тебе? Она напустила в ванну горячей воды и глядела, как от воды поднимается перламутровый пар. Стянула с себя платье. Бросила на пол. Медленно перекинула в ванну одну худую ногу, затем другую. Вода обожгла голени, она охнула и на всю катушку отвернула кран с холодной водой. Села в ванну. Зеркало, снова зеркало сияло напротив. Она взяла в руки мыло, намылила ладони и стала беспощадно, зло тереть мылом лицо. Веки в тених. Ресницы в нашлепках туши. Она смывала румяна и тональный крем, краски, лаки и блески, она смывала с себя свою ложь, свое вранье самой себе. Открыла душ. Направила тугие струи в лицо. Зажмурилась. Так сидела. Потом с грохотом бросила душевой шланг на дно ванны.

Из зеркала на худую маленькую девочку глядел дикий, страшный портрет ее старости. Портрет ее смерти.

Ее лицо. Настоящее. Без грима. Без любви.

Черные подглазья. Лоб в трещинах, как сухая земля. Нити бескровных губ. Опавшие щеки. Брылы под щеками, как у бульдога. Бледная кожа. Редкие рыжие кудерьки на лысеющем черепе. Это уже не девочка. Это ее старая кукла.

Кто будет играть мной? Никто. Меня завтра выкинут на помойку.

Протянуть руку. Взять со стеклянной подставки чашечку крепкого кофе. Включить плейер. Наушники надеть. Музыка, давай! Жми! Дави во все лопатки! Красную рыбу поймали и выпотрошили солнечную икру, и медведя зарезали охотничьим ножом, насаженным на длинный шест: самодельной пикой. И шумит тайга, и расстилается на полмира ледяной Амур, ширина плеса у Хабаровска – эта девчонка Сена просто отдыхает. И Волга отдыхает! И Амазонка! И все-все-все поганые реки мира! И тщедушный, но богатенький мужчинка ждет на казенной постели. Подождет! Я люблю другого. Врешь, ты уже не любишь никого. А танго?! Я танцевала с ним танго! И он обнял меня под мостом! Врешь, сучка, это ты сама придумала. Ты все сочинила. Господи, это правда! Не дури. Пей кофе. Слушай музыку. Отдохни. Расслабься.

Кофе был без сахара. Она поморщилась. Зеркало бесстрастно отразило бег морщин. Они расплзались по лицу червями. Она еще немного отвернула кран. Ванна наполнилась водой до краев. Она крепко завернула кран и улыбнулась страшной живой кукле с мертвыми глазами.

На полочке стояли пузырьки с шампунями, гелями, молочком для лица и для тела, с мазями и кремами, с бальзамами и парфюмами. Она увидела крохотный флакончик духов. Пальцы сами вырвали стеклянную пробочку. «Chock de Chanelle». Шикарные парижские духи. Она вдохнула запах. Медленно, рассеянно провела пробочкой за ухом, по виску. Когда мне заплатят гонорар за сто двадцать пятую говенную книжку, я куплю себе такие духи. Они очень дорого стоят. Дороже, чем все танцы у мадам Мартэн.

Элен, шептала она, я Элен, я иностранка, а ты кто? Имя. Скажи мне твое имя. Я хочу поцеловать твое имя. Это не я была проституткой. Не я. Это другая. Я девочка. Я чистая девочка перед тобой.

Она сорвала с головы наушники. Музыка вспыхнула и погасла.

Если вы не будете хорошо и глубоко дышать, вы утонете.

Мадам Мартэн, вы понимаете, что я люблю его больше жизни?! Вы понимаете?! Понимаете?!

Я все понимаю, девочка моя. Худенькая, глупенькая, бедная девочка. *Ma rouvre, ma petit.* Не бойся. Дыши глубже. Ты любишь его больше жизни. Я верю. Так получилось.

Медленно, очень медленно она погрузилась в воду по грудь, потом по шею. Потом легла на дно ванны на спину. Она лежала на дне белоснежной, как снега в амурской тайге, парижской ванны, длинная, худая, костистые ребра, играй на костях, как на ксилофоне, грудь усохла, соски как две изюмины, тощие, как у коня, лодыжки, угластые колени. Лежала в ванне так тяжело, чугуно, устало, что сквозь воду казалось – она не лежит, а висит в петле. Толща голубой, зеленой воды нежно качалась над ней. Ее глаза были открыты. Серые, водяные, голубые, зеленые глаза, они все время, всю жизнь обманывали, меняли цвет. Крещенская гадальная свеча у старого трюмо ярко вспыхнула, как музыка, затрещала и сгасла. Париж поплыл перед ее глазами, вода качнулась, ей протянули руку, ее опять приглашали на танец, и она не отказала. Дыши глубже. Вдохни глубоко. Болео. Ганчо. Очос. Баррида. Селесита. Энроске. Париж, ты лучший кавалер. Ты лучший тангеро. Я танцую мое последнее танго с тобой. Только с тобой.

* * *

Она уже никогда не узнала, как его зовут.

Сокровище

*“Уймись, волнения страсти!
Засни, безнадежное сердце...”*

Нестор Кукольник

– Коля, ты куда так рано встал?.. А-а-а-а-ах...

Молодая загорелая женщина на высокой, с тремя матрацами и пуховой периной, деревянной кровати с никелированной спинкой и серебряно-блестящими шариками сладко потягивается, чуть приоткрывает веки, но не разлепляет их до конца: чтобы перемолвиться с жаворонком-мужем парой словечек и тут же заснуть.

– Я-то?.. Да я тебе вечером говорил... Ты заспала... За грибами...

За подслеповатым окном избы – туманное сентябрьское утро. Высокий мужчина, с чутошной лысинкой между волн легких, как пух, светлых волос собирается в лес по грибы. Натягивает болотники; подворачивает рукава старого бушлата. Корзина стоит у его ног, огромная корзина. Все грибы в лесу в такую можно собрать.

– Коля... А-а-а-а-ах... – Женщина зевает, прикрыв по-детски, кулачком, рот, ее черные, жесткие волосы нефтяно разлились по подушке. – А Ладочка... спит?..

– Да думаю, спит. Они обе спят. Если что, Сан Санна проследит. Укачает.

– Господи, ребенку уже пять лет, а все качать!.. Это нехорошо... Это для головы нехорошо... – Женщина переворачивается на живот и кулаком подтыкает подушку под сонную голову. – Они там точно спят?..

– Тш-ш-ш-ш... – Мужчина прижимает к губам палец. – Стенки тонкие!.. разбудишь... – Прислушивается. – Да они, кажется, и не спят вовсе... Пойду-ка погляжу...

Он переступает через крепко, из хорошего краснотала, сплетенную, могучую корзину и осторожно открывает дверь, и, пьяно, с ранья, шатнувшись по крошечному, как закуток, коридору, входит в большую комнату, самую большую в избе. В комнате, на столе, застланном чистой холстиной скатертью, тускло, яично-желтым огнем в драгоценном опале, горит керосиновая лампа. Тут дубовое кресло с резной спинкой, взрослая кровать, детская кроватка на колесиках и углый, как лодка, диван; на диване, среди взбитых густой сметаной простыней и подушек, сидят рядышком маленькая девочка и древняя старуха. У старухи лицо коричневое и все, как дубовая кора, изрытое годами. Девочка нежно трогает малюсенькими пальчиками коричневые фотографии в старинном альбоме. Альбом тяжело, как Библия, лежит у старухи на острых коленях. Она осторожно листает его. Девочка глядит во все глаза на убежавшую вешней водой жизнь. Рядом с девочкой на постели – холщовый маленький мешочек. Тесемка развязана. Зев мешочка раскрыт доверчиво и скорбно. Так когда-то, совсем скоро, земля раскроет старухе свой зев, свой вечно улыбающийся рот. В мешочке что-то остро, солоно поблескивает. Будто золотой песок. Будто осколки старой хрустальной люстры.

Мужчина шагает вперед, в круг керосинного тусклого света. За ним в комнату воровски входит большой полосатый кот, трется об его ноги, бодает широкой, как лопата, башкой ножку стула.

– Вы чего это не спите, полуночницы?! – грозным и веселым шепотом говорит мужчина. – Я вас!..

Старуха сторожко поднимает голову от старого альбома; косится на мужчину, робкой болотной птицей.

– Ах... – роняет смущенно, и голос у нее хриплый, нежный, низкий и прокуренный. – Ах, Николай Иваныч... простите... мы засиделись... а вы уже встали... на рыбалку?..

– За грибами хочу сбегать быстренько. Сейчас самые белые идут. Самые драгоценные. А вы тут... – Нюхает воздух. Пахнет сухими цветами, связками лука, привязанными к потолку, свечным нагаром, недоеденной земляничкой в алюминиевой миске, чуть керосином и немного – табачным дымом. – Курите!

– Папа! – Девочка на диване нехотя отрывается от альбома, как от лакомства. На ее лице восторг и счастье. – Папочка, Сан Санна не курит! Она только совсем немножко! Папулечка, Сан Санна рассказывает мне всякие сказки!

Старуха выпрямляется под строгим взглядом лысого мужчины. Она долго смотрит на него и молчит, и он молчит тоже.

– Я рассказываю ей быль, – жестко говорит старуха.

Мужчина берет стул. Придвигает к дивану. Садится на краешек стула. Керосиновая лампа, как живая, радостно мигает у него за спиной.

– Ах, вот и улика! – Он наклоняется и берет с пола чайное блюдце, полное окурков. – А вы не думаете, что девочкино здоровье...

– Но вы же сами, Николай Иваныч, курите при ней! – весело улыбается старуха беззубым ртом, и мужчине нечем крыть. Он тоже улыбается ей. Улыбка у него светлая и счастливая, и да, он счастлив здесь и сейчас: у него молодая красивая жена, у него чудная маленькая дочь, и они отдыхают в Васильсурске, лучшем, красивейшем месте, где под широкими небесами крепко обнимаются Сура и Волга, и он пойдет в дубовую рощу собирать грибы, а придет – они нажарят белых целую сковороду, а потом он разрежет оставшиеся, самые лучшие, на кусочки, и будет нанизывать их на нитки, чтобы повесить сушить к дощатому потолку сарая. А эта бабушка, Сан Санна? Хозяйка избы? Спасибо, что смотрит за дочкой. Они с женой ночуют в отдельной комнате, чтобы девочка не слышала стонов любви.

– Один ноль, – весело смеется мужчина и вынимает из кармана пачку сигарет. – Ах вы девочки, хулиганочки, давайте хоть окно откроем!

Откройте, – царственно кивает старуха. “Да, царицыны повадки, что-то в ней есть такое... брось, простая деревенская баба. Простая старушенция, крестьянка... вчерашняя колхозница. Совсем недавно продала корову, а то бы мы тут сейчас и с молочком были”. Мужчина подходит к низенькому окошку и с силой нажимает на раму. Туман вместе с ошалелым пенем птиц врывается в избу и расползается, застилает зеркало с потертой амальгамой, салфетки с аппликациями на черном радиоприемнике и старом телевизоре с водяной толстой линзой и маленьким, как игральная карта, экранчиком, розовый рваный абажур, керосиновую лампу и лица, их живые лица. Лица плывут, смеются и плачут, и вдруг проявляются коричневым, как подгорелый пирог, негативом старинного фото из “Мастерской Карелина и К^о”. Счастье живет, жизнь плывет. Мужчина щедро протягивает сигареты старухе. Она жадно запускает в пачку пальцы, осторожно и медленно вынимает сигарету, а спички вот они, уже в руках мужчины синий коробок, и чирк, и вымахнул огонь, и сизый дым смешался с утренним туманом, и девочка ежится, и старуха накрывает ей плечи старым верблюжьим одеялом.

Они курят дуэтом – мужчина и старуха. Отгоняют руками дым от девочкиного лица.

– Ладочка, иди к маме, поспи с ней, – мужчина гладит девочку по русой головке. Она так и не расплела косы на ночь.

– Не пойду! Сан Санна так интересно говорит! Я прямо заслушалась!

– Я тоже хочу послушать, – тихо и серьезно говорит мужчина.

Что-то происходит в комнате, полной прозрачного тумана. А как же корзина? Как же грибы? Чья душа тихо поет и плачет? Чей голос срывается на далекий крик? Мужчина, девочка и старуха сидят тесно, близко друг к другу, их головы сдвинуты над старым альбомом – лысая, русая и седая, и еще остался керосин в лампе, и еще сигарет полная пачка, и еще очень, очень рано, четыре утра, а может, пять, и далеко, по всей деревне поют петухи, перекликаются, призывают бессмертное Солнце.

Я... о-о-о-ох, я уж такая древняя... из меня уж не песок сыплется – а пепел серый... я... не могу долго говорить, да что могу, расскажу...

Красавицею девушкой я была. Ох, красавицей!.. Гляньте-ка в альбомчик... да, да, вот сюда. Видите, какие снимки?.. в мастерской Карелина и Дмитриева делали, в Нижнем... при вспышке магния... магний-то зеленым огнем горит, я жмурюсь от страха!.. а ну как взорвется!.. Это я с Шаляпиным. Глазки, ах, какие ясные!.. Не глазки были – незабудочки... Неужели ж я стала такой старой развалюхой?.. Это я – с Куприным!.. А это – на Выставке девяносто шестого года – узнали, с кем?.. С Михаилом Врубелем! Врубеля тогда чиновники нижегородские ругали: он нарисовал панно, а им не понравилось! Слишком яркое. Кто теперь помнит имена этих чиновников, дураков, баранов, прости Господи?.. А около картин Врубеля – плачут, склонив колени... в Третьяковке... я сама видела...

Родители мои были благородные, у нас в Нижнем был большой наследный дом, и в Васильсурске у нас было три дома. Один – жилой, жили мы там и зимою; один – летний, светлый и просторный, дачный, с двумя крытыми верандами; и один – у самой Волги, так, чтобы ходить купаться удобно было, близко. К нам семейство Поленовых в гости ходило!.. К отцу моему... Отец живописью баловался; Исаак Левитан в Василь наезжал – с Левитаном папа на этюды ходил... Дубовую рощу на Шишкином мысе – вдвоем на холстах маслом писали...

А-а-а-а-ах... Времечко было, да-а-а-а...

Солнца было вдоволь. Рыбы – вдоволь. С колоколен звон лился!.. как масло золотое... в меня мужчины влюблялись... Но я им – не-е-е-ет!.. руки не давала... Видите, платье беленькое, на рукавах оборочки... Я себя блюла, не то, что девки теперешние... Я от Федора Иваныча личико отворачивала, когда он меня однажды на Орлином гнезде пожелал поцеловать... ну да, от Шаляпина самого!.. А сейчас жалею... так жалею, что – плачу... И всем молодым говорю: целуйтесь, милуйтесь, пока желаете, пока чудо жизни с вами происходит...

А что потом?.. А что потом... Потом – огонь был. Огонь и смерть.

О-о-о-о-ох... вспоминать тяжело... да уж ладно, вспомню...

Мое семейство большое почти все перестреляли. Отец, мать, три сестры, брат и двоюродный брат тогда, в восемнадцатом году, в Нижний из Василя, после лета, вернулись. Тут и начались расстрелы... по всему городу... Их расстреляли на Гребешке. На Ярилиной горе... Там десять тысяч человек положили... Братик и одна сестричка чудом спаслись! Выжили... среди наваленных тел, трупов... плавали в крови своей и чужой... выжили. Их живых из-под трупов достали... ночью... добрые люди... услышали стоны... С нашей теткой, Зоей Дормидонтовой Беловой, братик и сестра – во Францию на корабле уехали, из Одессы... на чужбине от смерти – спрятались... Ну, там, конечно, чужого, французского горя хлебнули... Да все живы остались, письма мне оттуда писали; не все доходили; а потом и вовсе приходиться перестали; я за них молитвы Господу возносила.

А тата, рара, две сестрички, Лизочка и Леночка, и кузен мой, шалун, повеса... так там и остались лежать... на Ярилиной горе... в Нижнем...

А я в Василе осталась тогда, уж больно мне хотелось антоновских яблок и спелой калины в зиму пособирать... и схоронилась, и чудом уцелела.

А-а-а-а-ах... кх, кх, кх... ох, ох... Ножки болят... суставчики... Мне ведь, знаете, сколько лет?.. Да я и сама уж теперь не знаю...

Надо жить было в том аду. Выживать... Меня под себя подмял комиссар. Я за него замуж вышла. Ну как вышла? Мы ж не венчались... а так... Плакала я очень. Грубый он был. Но я за ним – жива осталась, меня уж не тронули. Никто меня, как “бывшую”, ни в тюрьму не упек... ни к стенке не поставил... Комиссар мой, Леонидом его звали, любил сигареты “Ира” курить. Курил-дымил без роздыху. Я задыхалась в табачном дыму... все легкие прочернели...

дышала-дышала – да и сама дымить начала... И посею сейчас курю. Ах, дайте-ка я закурю!.. И прокашляюсь сразу... кха, кха, кх-х-ха...

Ну так вот. А у меня тут, в главном нашем васьском доме, от папа остался маленький сундучок с драгоценностями. Мама все мне шептала на ночь, на ушко: Санечка, это ваше наследство, твое, Annette, Lise и Helene... Тут все мои жемчуга, перла покупал мне их в Париже и в Риме, тут брильянты дивные, роскошной огранки... тут прабабушки вашей, урожденной графини Шереметьевой, перстни с сапфирами и шпинелью в оправе из мелких алмазиков... тут золотые цепочки... тут кольцо, что бабаке вашей на балу Царь Николай Павлович сам на палец надел!.. Тут изумруды египетские, изумрудное кольцо, а это подарок Императрицы-матери Марии Федоровны – мне самой, матери вашей... берегу как зеницу ока... только на Рождество да на Пасху надеваю... А я папа спрашиваю: а почему ж вы такие сокровища не в нижегородском нашем доме, а здесь, в Василе, держите?.. И папа вдруг лицо ладонями закрыла – и заплакала. А потом руки от лица отняла... гляжу – улыбка у нее на губах, такая прелестная... красивая наша мать была, просто – икона... И шепчет: здесь, в городишке уездном, мое последнее счастье, ваше единственное наследство будет сохраннее... шепчет: время дикое, тяжкое грядет... смерть идет на нас черной тучей, смерть...

Так оно и вышло. Черная смерть съела все, как саранча... не одну нашу семью сожрала... А всю Россию. Всю...

Кха, кха, кха-а-а... Ну и вот... За комиссаром я, значит. Он – расстрелами занимается... и, выходит, я жена убийцы. Душа моя вся прочернела, не только легкие от табака... А он ночами накурится, водки напьется, одеяло с меня сбросит на пол и кричит: ты, бывшая! Ты, кружевная барышенька! Мы вас всех так и растак! Вставай, кричит, кисея графская, да танцуй мне, танцуй! Я сегодня сто человек в затылок расстрелял... хочу развлечься! Танцуй да на колени мне голая садись!.. Я все делала, как он хотел... Он меня – бил, если что не так...

А в зеркало погляжу – и плачу-заливаюсь: красота такая пропадает... А потом тайком перекрещусь и думаю: Бога гневлю, а надо благодарить, что жива осталась...

И что? Убили моего убийцу. Убили здесь, в Василе. Убил Володя Потапов. Володя в меня был до революции влюблен. Он мне – землянику в соломенной шляпе приносил. Знаете, такие были соломенные шляпы широкополые?.. назывались – бриль... Не знаете?.. Ну и ладно... Я землянику из шляпы ела, над Володей смеялась: никогда за вас замуж не пойду! Он вздыхал: ну да, вы, Шуронька, конечно, выйдете замуж за Великого Князя, ни за кого другого... с такою-то красотой... Вот... вышла...

Ночью убил моего мужа Володя. Из обреза. Когда комиссар мой на двор по нужде вышел. Звезды тогда ярко, страшно горели... поздняя осень стояла...

Убил, в окно мне постучал: я выглянула, думала, это муж. Вижу, в свете Луны яркой и звезд, бешеное, перекошенное лицо... чужое... сердце в пятки... потом пригляделась: Боже, Володя... Что ты тут делаешь, Володя, кричу через стекло?! А он мне... по губам читаю: я твоего мучителя убил... собирайся... хватай все самое дорогое... из одежды что... и бежим...

Я спустилась в подпол. Отодвинула тяжеленную бочку с банками олифы. Под бочкой – яма, заваленная досками. Я доски отгребла... там – сундучок... Наше сокровище. Я его сама так хорошо спрятала. Понимала: красные все отберут и меня убьют, если найдут...

Но не потащишь же с собой по дорогам жизни сундучок... он размером с маленький чемоданчик был... Я выгребла все камешки, все золото. Сшила, на скорую руку, а руки-то трясутся в дикой ночи, мешочек холщовый... в него камни положила... и мешочек тот – под нижнюю юбку – суровой ниткой – крепко присобачила... Ну и все! В путь-дорогу, Санечка!.. Господь да сохранит тебя...

И мы с Володей Потаповым сначала на лодке – до Курмыша... потом посуху – на перекладных – до Саранска... потом на поезд литерный – и – на юг... И так добрались до Средней Азии. До Ташкента... а-кха-кха-кх-х-х...

Ох, Господи, дайте-ка затянусь... вот как затяжку сделаю хорошую – так ведь и не кашляю уже, правда?..

...а-кха-кха... и виноград ташкентский ели, да, огромными блюдами, от пуза; и дыни сладчайшие; и, главное, тут, в России, все голодали, а в Ташкенте хлеба было навалом, мы с Володей хлебом первое время просто обжирались, так уголодались здесь, на Волге... Я научилась в тандыре лепешки эти ихние печь. Оби-нон, ширму, чеват... Тесто крутое замесишь. Бац, бац!.. бросаешь в зев печи, в горячее жерло... а они сами к стенкам прилипают... и огонь живой горит, красный... волчьи языки...

Хоть и хлебный город был Ташкент... а нищие там водились. Рядом с нами мать жила, узбечка... пятеро детишек, голодали... Она на улице сидела, на коврике, побиралась... Я ей – перстенок один сунула, не помню уж сейчас, с камешком каким... вроде с топазом медовым... и цепочку золотую с рубиновым крестиком: продай поди, купи еды! Продала. Стала на это жить... Однажды пришла – на колени кинулась, мне ноги целовать... я отталкивала ее, потом сидели, обнимались, ели лепешки, она в платочке принесла, теплые еще, плакали вместе... лепешки эти слезами обливала, а они, помню, с изюмом были... А Володя нам на граммофоне Лещенко ставил, модный был такой певец, Петр Лещенко... ох, душевно пел...

Недолгое счастье наше было с Володей. Убили Володю басмачи. Для них русский означало – красный, хотя Володя никогда красным не был. Опять я плакала. Голубые глазки свои, ясные, незабудковые, все вот так и выплакала... вся слезами, как вобла, просолилась...

А сокровища матушкины, что под юбкой нижней я через всю Россию да через всю Азию в литерных да в товарняках провезла, я около дома, что мы снимали, около арыка закопала. Глубоко закопала... в железный ящичек положила, как в железный гробик... Думаю: жизнь большая... еще пригодятся...

Володю убили... а я в положении. Что ж!.. так суждено. Родила... девочку...

Радовалась: вот и я грудью кормлю, и я – мать, вот и ей сокровища семейные достанутся...

А вокруг страна строилась! Все гудело и плавилось! Мотались поперек улиц красные транспаранты! И мир уж давно настал, а все стреляли... От жары, от зноя голова моя трескалась, как дыня... Ночами от жары я в мокрую простыню заворачивалась. В глазах уж слез не было: сердце ревело ревмя, так домой из прокаленной Азии хотело...

Тяжело одной было, да с ребенком. За узбека замуж вышла. В ЗАГСе расписались, печать в паспорте у меня появилась первый раз! Советская... советский брак. Узбек мой, Ахмед, добрый был малый. Он – военный был. От лейтенанта до майора дослужился. Хорошо мы жили. У нас в Ташкенте свой дом был. Всех его друзей в ежовщину пересажали, всем – пулю в лоб... или в затылок... или – в лагерях сгноили... а его не тронули. Вот сейчас и думаю, голову ломаю: а почему ж его-то не тронули? Больно угодил властям, так, выходит?.. Может, где шептал... кого-то предавал... выслуживался... Ох, нехорошо так-то о мертвом. Пусть это его тайной и останется на небесах, Царствие ему небесное, хоть он и узбек, мусульманин... В театр в Ташкенте оперный идем на премьеру – в зале шепот-ропот: вон, вон он, счастливец, майор Инояттов, с красавицей-женой!.. Дом полная чаша... достаток... я – майорша... вторую дочку родила, Гульчехрой назвали, по-ихнему... чем не счастье...

А о драгоценностях своих я мужу ничего не сказала. Не открылась... кха, кха, кха...

Не раскололась, да!.. а лазила туда, под землю, в ящичек-то, нет-нет да и раскопаю... И – вынимала золотишко! Да не для себя. У меня-то все было. А для кого?.. да так, для того, другого... Когда сил не было глядеть на страдания людей... Вот в больнице Ахмед лежал – там нянечка полы мыла; моет и плачет, моет и плачет... моет – слезами... Я спрашиваю: что ревешь? А она мне: трех детей, трех парней красивых, здоровых – взяли да посадили... десять лет, ревет-разливается, без права переписки... А я-то уж знаю, что это такое. Расстрел это, вот что. А она знай ревет: да жен их, снох моих, тоже посадили, а у меня на руках все детишки...

я, хлопает носом, внуков в детдом не отдала... в погребке спрятала... а вот теперь корячусь, а они сидят, голодные галчата, меня с работы ждут, как чуда, и сразу – в руки смотрят, в сумку лезут... Я ящик выкопала в очередной раз, схватила золото в горсть, не глядя схватила, и – за пазуху... и ей несла, так через весь Ташкент в больницу – как на пожар бежала... через рельсы трамвайные упала... колени в кровь расквасила... так и прибежала к ней – дырки на чулках, кровь и грязь по чулкам ползут, я с золотом на груди на крыльце перед ней стою, и смеюсь и плачу... А за ней – за ее спиной – головенки ребячьи, как... как грибы в лесу поутру...

А тут – война. На фронт Ахмед уж полковником ушел. Гуля умерла от скарлатины. Пометалась два дня в жару и умерла. Потом на Ахмеда похоронка пришла. В первый месяц войны его убили. Мясорубка тогда была будь здоров. У армии нашей не было ни оружия, ни танков вдосталь, ничего. Колотили немцы наших ребят, а Сталин все гнал да гнал народ под пули. Живой стеной Москву защитили! А я уже не плакала, потому что слез уже не было.

А к нам в Ташкент стали эвакуированные поступать. Много! Эшелоны из Москвы приходили, не знали, куда кого девать, расселить... К нам в дом, дом-то большой был, пол-поезда затолкали. Дом стал – как бешеный муравейник! Эх и насмотрелась я на людское горе! Одну старуху привезли из Ленинграда... гордую, худую как палка. Волосы она в белый, снежный пучок на затылке забирала. Ходила всегда прямо, как у офицера, выправка... За ней девчонка ухаживала, тоже такая надменная, все молчала; и парнишка был с ними, весь в конопушках, смешной, рыжий. Девчонка с ним по-немецки говорила. Я-то догадалась: приютили пленного фрица, молоденького, от охраны драпанул... пожалели... Думала: немчика если найдут – сразу шлепнут, чикаться не станут. Жрать им всем троим иногда было совсем нечего! Загляну в комнату – дуют чай пустой... Ну, я и сунулась опять в мой сундук подземный... Все думаю сейчас: эх, как же это меня никто не приметил ночью-то, как я в земле копаюсь?!.. знать, хорошее место было, укромное... никто не видел. Только алыча одна над арыком – и видела... да звезды, крупные, как те брильянты мои...

Принесла им золото. На стол положила перед старухой. Она в кресле сидит как деревянная. Как идолище. Вот, говорю, продайте... и себе еды купите. Сама лицо отворачиваю, чтоб не разрыдаться. А старуха цапнула со стола золото – да мне в рожу как кинет! Кольца, браслеты по дощатому полу раскатились, зазвенели. Захрипела: не нужны нам подачки! Мы гордые! Мы... и ну валиться с кресла! Сердечный приступ! Я подхватила ее. К себе прижимаю. Шепчу: да я... да я от чистого сердца... Тут парень этот конопатый, немчик, вошел. На нас глядит круглыми глазами совиными, хлоп-хлоп. Ничего не понимает, вижу. Рот разинул шире варежки. На золото жадно глазенки расширил! А девочка тут была, рядом. Кинулась к старухе. Гладит ей руки высохшие. Лепечет: “Не обижайте женщину, Анна Андреевна, вы же видите, она и правда от чистого сердца!” И я шепчу: не бойтесь, не краденое... фамильное... Сказала и испугалась. Донесут! Или она, или девчонка... У старухи крашенные брови вверх поползли. “Фамильное? – повернула ко мне орлиный нос. – Так это семейное? Так кто же вы? Ах, да... ну, не спрашиваю...” Помягчело жесткое лицо. Я нагнулась, по полу ползаю, золото собираю. На стол из горсти опять упрямо вывалила. Сухая лапка, вижу, сама взяла звенящие цепочки. “Я приму, – вздернула подбородок. – Но мы вам отработаем!”

Какое там отработали... Я старуху в Ташкенте и похоронила, сама... А девочка и тот немчик – поженились... Я им еще и на приданое золотца дала; они меня целовали, мамочкой уже называли... Потом в горы уехали, спрятались, чтобы немчика не нашли, он же в бегах был... Так я их и потеряла, все ленинградское семейство... кха...

Закончилась война, и подалась я с девочкой моей единственной, с Люсичкой, в Россию! Дом, в котором с Ахмедом жили, государству отдала. Он же у нас ведомственный был. А даже если б он и мой был – я ж не знаю, как это: купить, продать... Вот глупая такая, да!.. бесхозяйственная... Ну что, путь открыт, зеленый свет тебе, Санечка! А у тебя – ни денег, ничего... Кроме сокровища твоего, коим ты не себя – чужих людей спасала и кормила. Откопала близ

арыка мой железный ящичек. Не заржавело золотце мое в земле... Откинула крышку... перебираю самоцветы... сильно их поубавилось за жизнь... и слезы... опять живые слезы, горячие – на мертвые камни – как полились!.. Потоком... Кап-кап, слезки бабьи... И шепчу: Волга, Волженька моя, Василь мой, Нижний мой, баржи мои, плесы мои, рыбацкие костры на берегу, да я ж снова увижу вас, я до вас добегу, долечу... доползу...

Собрались и поехали, две робких курочки, молодая да малая. Я – в ситцевом платье, в Ташкенте ж жара; Люсичка в сарафанчике. Дура была, что ли?.. ни о шубах, ни о шапках зимних не помышляла... Нет, думала так: продам камешек хоть один маленький, хоть брильянтик – и целый год на него проживем... Добрались до Волги, до Сталинграда. Господи!.. весь разрушенный... Одни руины, обломки... Стоим на пристани и плачем с доченькой. Я сдала в скупку золотое кольцо со шпинелью шереметьевской... так пронзительно, подозрительно на меня в скупке, за стеклом кассы, заведующая глядела!.. шпинель вертела в толстых пальцах, то на камень глянет, то на меня... знаю, думку гоняет: не воровка ли я, не стянула ли где... но спас Господь... и купили два билета на пароход. В третьем классе купили... в восьмиместной каюте, вместе с цыганами-ворами, с бабками, что из Астрахани на рынок в Казань сахарные помидоры везли... да еще там дедок один был, красный, лохматый, все чесался, как пес блохастый... я лишь сейчас вот догадалась: чесоткой хворал... Как мы-то с доченькой заразу не подцепили!.. Цыгане напились пьяные и горланили: мать, мы у тебя девчонку украдем!.. Она нам шибко приглянулась... Глазки у ней – голубые, как небо... Будет с нами милостыньку просить!..

Я всю дорогу не спала. Люсичку к себе прижимала... Так и лежала, без еды-без питья, на верхней полке... даже в клозет не ходила...

Когда пароход приставал к васильсурской пристани, была уж глубокая ночь. Три часа ночи. Звездное небо... алмазы по черному крепу рассыпаны... аметисты, изумруды, жемчуга... и я Люсичкину руку в одной руке держу, в другой – чемодан. А в чемодане – все наше счастье... вся наша жизнь: наша еда, и наше питье, и наше последнее сокровище: это не золото-самоцветы – это наш дом, и Люсина учеба, и Люсино приданое на свадьбу, и колясочки да ползунки моих будущих внуков, и наш сад-огород, и... кха!.. кх, кх, кх-х-х-х... ха-а-а...

Вышли. Пристань плывет под ногами. И звезды над головой плывут... И это Люсичка громко плачет, а не я... Плачет: мамочка, это вот Россия?.. Это Россия?.. А почему тут так холодно? Я, плачет, домой, в Ташкент хочу...

Куда среди ночи пойдём? Я стала искать улицу Большую Покровку, где у нас родовой наш дом стоял. В лунном свете призрачном... ноги сбиты в кровь за долгий путь, обувь тесная, жесткая... по камням мостовой пошли, побрели... Это ведь не просто мостовая у нас в Василе; это – слезная дорога, каторжная, Владимирка... Пол-России по ней шло на восток в кандалах, и цепи гремели... Добрели. Покровка как мертвая под синей Луной... молчит... Дома молчат... Подошла к нашему дому. Встала на колени... Гляжу: над дверью – табличка... Библиотека... Счастье, летняя ночь была, теплая, мы заночевали на крыльце нашего бывшего дома... как две кошечки бродячих... головы положили на чемодан, я укрыла доченьку своим телом, подолом платья ситцевого, так и продрожали...

И что?.. Да ничего... ничего. Стали жить. Здесь, в Василе... Домик старый, ветхий купили, чтобы подозренья не вызвать, что, мол, богачки прикатили. Железный ящик мой я в саду, под яблонькой, закопала. Под розовым наливом... Запомнила место. И дочке его сказала. От обысков спасла. От местных бандитов... Никто ничего все годы не знал... ничего... Работать я устроилась в библиотеку, чтобы, значит, внутри дома своего наследного каждый день пребывать... Иной раз даже ночевала там, среди книг... в потолок смотрю, а там такая трещинка родная, я все на нее глядела, когда маленькая была... и мне казалось: из этой трещинки ночью – Ангел вылетает...

И – читатель один ходил, ходил. Хорошенькая я ведь еще тогда была. Ходь и с седыми прядями в косах, да... Все книжки брал про разведчиков читать. И фантастику. Про космос.

Гагарин тогда в космос-то полетел. Модный этот космос сразу стал. Кучу книжек наберет, к животу прижмет, еле держит... И меня глазами ест. Будто бы я яблоко... ранетка... Я уж все поняла. Думаю, что ж одной куковать? Вот и новая семья у меня. Вот и спасает меня Бог еще раз... В Бога тогда никто не верил. Это сейчас все верят! А тогда – никто.

Вот я – верила... и Он меня спасал...

Свадьба у нас была шумная, на весь Василь. Муж мой, Ростислав Андреич, на пристани работал. Пароходы встречал и провожал. Я к нему на пристань вечерами приходила; обед ему в судках приносила. Он мне – ручку целовал... И я вздрагивала: так рара ручку тата целовал когда-то...

Ростислав Андреич на пристани – в колокол ударял... Он называл это: отбить склянки... Ему не нравилось, что я курю. Я когда курила, от него дым рукой отгоняла... вроде как комаров... Он мне все пенял: ты, Саня, загремишь с туберкулезом легких, если так будешь смолить! И что? Видите, живу. Доктор Борода мне эликсир от кашля пропишет... да лучше сигаретку выкурить, легче мокрота отойдет, кха-кха-а-а-а...

От Славы я сыночка родила. Веничку. Ах, Веничка!.. Веничка-а-а-а-х-кха-кха-кха... Хороший мальчик. Он для меня и сейчас мальчик... матери сын всегда мальчик, даже если и седой уже... Веничка меня очень любит. Он со мной жить в Василе остался, никуда не уехал. А Люсичка уехала. В Нижнем замуж вышла. Пять внуков у меня. Пять... ровно пять... как нас, детишек Беловых, было – пять... Четыре девочки и мальчик... Аня, Лиза, Аленка, Коля... и – Саня... Молодцы... молодцы... в честь бабушки младшенькую назвали...

Ростислава Андреича я давно похоронила. Уж четверть века без него живу. Как один день... И вся-то жизнь – один день... да одна ночь... Иной раз хожу к нему в Лосев переулок. С палочкой, медленно, по шажочку... добреду. Плачу на могилке...

Я уж давным-давно для Василя – старуха Сан Санна. Трудно народу выговорить: Александра Александровна, я понимаю, трудно. Сан Санна, так легче... Меня еще в прошлом году на Волгу, на пляж, на песочек, дети, Люсичка и Веничка, в кресле спускали: кресло со мной – по тропинке крутой – на руках несли! Они несут, а я смеюсь, дребезжу беззубым ртом: вы меня прямо как шахиню в паланкине тащите... по-восточному... а они мне: ну, так ты ж восточная у нас дама, мамочка, ты ж ташкентская пери! Гурия... А мы два твои слона, ты катишь на слонах... нет, на верблюдах! Мы верблюды твои! Ах-ха-ха-ха... кха...

А на пляже сiju в кресле, под белым зонтиком. Как встарь. Как – до революции... Люсичка зонтик кружевом обшила. Ветер кружева треплет... Река течет...

Ох, о-о-о-ох... Лучше затяжки хорошей в мире нет ничего...

А спросите, где мои драгоценности?.. Да где, где... Уж все проели-пропили... Уж все раздала-раздарила... Дарю и говорю: людям нужнее, чем мне. И вижу еще, пока не слепая, людские улыбки! И слышу, пока не оглохла, ахи и охи восторга! Как мало человеку надо на земле для счастья! А что, думаю, для сердца в камешке том?.. Денег стоит?.. не то это все, не то... Радость? Красота? Память?.. Человек изобрел на земле сокровища, и в них, дурачок, обращает свою жизнь. А жизнь-то – самое ведь драгоценное, а не эти цацки, ляльки, побрякушки... Так все алмазы-рубины и разбежались, как мышки с корабля... Так потихоньку и рассосались... Немножко осталось. Не в железном ящике уже – вот тут, в самосшитом мешочке... теперь – не надо в землю закапывать... теперь – никто не отнимет... я мешочек в палехской расписной шкатулке держу, в комодке. Вот на лето внучек привезут – я им последние бирюльки и раздам. Анечке – шереметьевский сапфир... Лизочке – золотую цепочку... Аленушке – браслет с брильянтами... а Санечке, тезке – изумрудное кольцо Императрицы... Иногда развяжу мешочек, гляжу на последние мои камешки старыми своими, подслеповатыми глазами, и думаю: а ведь это не камни, это мои слезы, они просто застыли и отвердели... это моя кровь и кровь мужей моих бедных... она просто засохла, стала жесткой, прозрачной... и сверкает... и жжет... а-ха-кха-кха-кха... Кха!.. кха...

На пороге гостиной – женщина. Черные густые волосы гладко зачесаны на затылок, забраны в тяжелые косы. Белая рубаха с кровавой вышивкой по вороту и рукавам делает ее похожей на крестьянку. Она стоит на пороге и смотрит, как спят все трое: мужчина, девочка и старуха. Девочка на диване; мужчина положил локти на стол, рядом с керосиновой лампой, а на локти – тяжелую лысую голову; старуха сидит в старом дубовом кресле, и можно подумать, она не спит, потому что глаза ее открыты, – но она спит, как лошадь, с открытыми глазами. Альбом открыт, и с коричневой старой фотографии глядит веселая парочка: Федор Шаляпин, смеясь всем холеным, барственным лицом, обнимает за плечи тоненькую девочку в шелковом платье с буфами, и глаза девочки летят перед ее фарфоровым лицом, как две бабочки. В блюде дотлевают окурки. В развязанном холщовом мешочке, что валяется на диване у щеки девочки, сверкает старое золото: колечки, брошки, цепочки, – горят зверьими глазами прозрачные камни забытой огранки. Девочка во сне сжимает в кулачке тесемку мешочка. Окно распахнуто в осенний золотой сад. Солнце медовыми, желтыми, огненными пятнами бредово, пьяно ходит по скатерти, по старым обоям, по ветхому абажуру, по спящим лицам.

– Вот тебе и грибы, – шепчет женщина, и верхняя губа ее с еле заметными черными усиками дрожит от смеха и обиды. – Вот тебе и грибы!

Далеко, как на небесах, поет петух. Далеко, как на том свете, звонит церковный колокол.

Краденая помада

Памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке

Они сначала жили у нас в Ленинграде, тьфу ты, у нас в Петербурге, все никак не привыкну к этой перемене. У нас в Питере, вот как лучше сказать.

Смешное семейство такое! Фамилия их была Белосельские. Я любила у них бывать. Не часто, но забегала. Мамка семейства, такая огромная, толстая, как толстая серая кукушка, все переваливалась с боку на бок, неуклюже по комнатам бегала – да, да, не ходила, а бегала, это по квартире-то! – пухлыми уютными боками сбивала на пол старинные, уже сплошь подклеенные вазы и клетки с волнистыми попугайчиками, и все куковала: “Ах, чайку!.. Ах, что это за чаек!.. Ах, да это ж не чаек, а просто какие-то писи тети Хаси!..” Носик крючком, седые букольки, а мамку звали не тетя Хася, а еще хлеще: тетя Двойра. Двойра – это в Ветхом Завете Дебора, это я в Библии нашла такое имя. Дебора – это я понимаю! Это красиво. Это звучит гордо. А Двойра? Дворничиха какая-то. Ох и добрая тетка была! К чаю все кнедлики с маком, облитые медом, подавала... Сама стряпала...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.